

СИБИРИАДА

АЛЬБЕРТ
ГУРУЛЕВ

РОССТАНЬ



Сибириада

Альберт Гурулев
Росстань (сборник)

«ВЕЧЕ»

2015

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

Гурулев А. С.

Росстань (сборник) / А. С. Гурулев — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Сибириада)

Известность иркутскому писателю Альберту Гурулёву принес его первый роман «Росстань», написанный в 1968 году, за который он был удостоен литературной премии имени И. Уткина. Роман посвящен событиям Гражданской войны в Забайкалье. Белогвардейцы, казаки, красные партизаны, японские оккупанты – все смешались в кровавом лихолетье. Росстань – перекресток путей, на котором оказались герои романа, и только от них самих зависит, какой выбрать путь в будущее. Повесть «Чанинга» посвящена драматической судьбе деревни, попавшей под очередную эксперимент властей по «укрупнению» хозяйств и уничтожению «неперспективных» деревень в сибирской глубинке. Повесть «И был день» – это рассказ о человеке, потерявшем себя в круговерти жизни и так и не сумевшем разглядеть свой второй шанс обрести счастье.

УДК 821-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

© Гурулев А. С., 2015
© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Росстань	6
Часть первая	6
I	6
II	13
III	26
IV	41
V	48
VI	55
VII	59
VIII	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Альберт Гурулёв

Росстань (сборник)

© Гурулёв А. С., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Росстань

Часть первая

Ночью в село вошли японцы. Их двуколки на громадных колесах проскрипели по Большой улице и остановились у школы. Гортанные выкрики команд взбудоражили собак; металась во дворах цепняки, душились злобой, царапали землю. Кое-где за плотными ставнями зажглись желтые огоньки, но вскоре погасли. За огородами в неверном свете ущербной луны мелькнули зыбкие тени, и в крайних верховских избах слышали, как несколько коней наметом ушли в степь. Только собаки еще долго не могли успокоиться, да у школы слышалась чужая речь.

I

Солнце выкатилось из-за Казачьего хребта, веселое, звонкое, словно ничего на земле не изменилось. Серебром инея белели крыши и заплоты, копошились на дороге пестрые куры, лениво полз из печных труб синий кизячный дым.

Бабы, проводив коров к пастуху, сгрудились у ворот.

– Ой, что-то будет, бабы, – вздыхает Лукерья, высокая, костлявая, средних лет тетка. Большие натруженные руки она держит на круглом животе. – Чует мое сердце.

– Что будет? Восподь не допустит, – откликается Костишна, перестав жевать серу.

У Костишны большие слезящиеся глаза. Она вечно жует серу, часто моргая красноватыми веками.

– Девок, говорят, они портят.

– Вам хорошо, у вас девок нет. А мне-то как? – охнула жена казака Алехи Крюкова, сын которых, по слухам, ходит в партизанах. А еще у Крюковых дочь. Как свежие сливки. За такой глаз да глаз родительский нужен.

– Верно, кума, – беспокоится Лукерья. – Сказывают, шибко они охальничают.

– Тебя-то не тронут, зазря выфрантилась. Чулки новые одела. Хоть один упал, но ничо, – под смех съязвила Костишна.

Лукерья нагнулась, подвязала под коленом чулок из серой овечьей шерсти, нахмурилась.

– Эй! Сороки! Видели живого японца? – крикнул от своей калитки Яков Ямшиков, немолодой казак с черной окладистой бородой, по прозвищу Куделя. – Вон он, в нашу сторону идет.

Испуганно озираясь, подобрав подола, чертыхаясь и вспоминая Господа, бабы кинулись по домам. На опустевшей улице осталась только стайка ребятишек да двое парней, сидящих на широкой лавочке приземистого дома. Парни чужака вроде не замечают, вольно привалились к заплоту, дымят махоркой, но – понятное дело – любопытны не меньше ребятишек. Один из них, рыжий и плотный, длинно сплевывает, говорит что-то своему приятелю, и тот, мазнув по японцу глазами, прячет ухмылку.

Японец шел по середине улицы, развернув плечи, уверенно переставляя кривые, в желтых крагах ноги. Небрежно пощелкивал легким стеком по выпуклым икрам.

– Здравствуйте, дети, – сказал он, четко выговаривая слова.

Ребятишки ответили вразнобой.

– Здравствуй...

Сидя под плетнем, они задирали головы, чтобы получше рассмотреть подошедшего.

Лицо японца за лето успело покрыться темным загаром. На губе – жесткие, редкие усики. В карих глазах – спокойствие. Губы в улыбке приоткрывают желтые, выпирающие вперед зубы. Маленькая рука в белой перчатке лежит на широком ремне.

– Как вас звать?

– Меня Шурка, а это Степанка, вот Кирька, а он – Мишка, – одним духом выпалил Шурка Ямщиков, младший сын Кудели, тыча в друзей пальцем.

– О, хорошо, – сказал японец, раскатисто налегая на «р».

В селе часто бывали незнакомые люди. Зимой приезжали крестьяне с возами хлеба, много бывало гостей в престольный праздник. Но японцы – никогда. Ребятишки смотрели на него с нескрываемым интересом.

– А ты кто? – спросил бойкий Шурка.

– Я – японский офицер. Когда говоришь с офицером, нужно стоять, – улыбка слиняла на его лице и сразу же появилась снова. – Вы хорошие дети. . .

К разговаривающим подошли Куделя и его сосед Филя Зарубин. Из окна с испугом и любопытством смотрела Костишна, но выйти на улицу не решалась.

– Здравия желаем, ваше благородие, – поздоровались казаки.

Японец небрежно козырнул, угостил мужиков сигаретами. Постояв еще с минуту, он четко повернулся и так же не спеша, поигрывая стеклом, пошел по середине улицы обратно.

Выехавший в телеге из проулка Петр Пинигин круто свернул к обочине, уступая офицеру улицу.

– Видишь стервеца, – кивнул в сторону Петра коротконогий Филя. – Боится ненароком обидеть.

– А вы чего сопли распустили? – накинулся Куделя на ребят. – Заморскую харю не видели? Об тебя, Шурка, дед сегодня костыль обломает за то, что с японцем целовался.

– Я не целовался с ним, – обиделся Шурка. Филя захохотал, потянул Куделю за рукав.

– Пойдем, Яков.

Ребята стояли у плетня, не понимая, за что их обругали.

– Эй, братка, Степанка! – крикнул одному из ребятишек рыжий парень, сидящий на скамейке. – Иди-ка сюда.

Распахнулись створки окна, выглянула Костишна, приставила к уху сухую ладошку.

Всю осень японцы готовились к обороне. Окна школы закрыли мешками с песком, оставив узкие бойницы. Свалили вокруг плетня и заплоты. Около ворот набросали мотки проволоки. Изрыли землю ходами сообщения, стрелковыми ячейками. Перегородили улицу телегами, сенокосилками, конными граблями, оставив лишь узкий проезд.

Бродили слухи, что в лесу много вооруженных людей. Называли имена вожаков, упоминали Осипа Смолина, того самого Смолина, который три дня скрывался у родной тетки, Екатерины Прокопьевны, что живет через семь дворов от школы. Кто-то донес в милицию, но Осипа Яковлевича уже не было. Обозленный, начальник милиции приказал бить плетью Екатерину Прокопьевну.

По заморозку в лес уехала дружина – больше сотни казаков – выбивать партизан. Вернулись через три дня с пятью убитыми. В пяти домах в голос заревели бабы. А через несколько дней заревели в шестом: за огородами расстреляли Иннокентия Губина. Виной тому – Петр Пинигин, дальний родственник расстрелянного. Перед походом заходил к Губиним.

– А ты чего, Кеха, не едешь с нами?

– Хвораю я. Да и затея ваша пустая. С огнем играете.

– Позавидуешь, когда я оттуда пару коней с полными сумами приведу.

Вернулся Петр пешком и, видя ухмылку родственника, в тот же вечер пошел к есаулу Букину, водившему дружину.

– О нашем выступлении сообщили. И это, скорее всего, сделал Иннокентий Губин. Он говорил, что там нам голову оторвут.

Букин не поверил путаному рассказу казака, но, подумав, что, если делу не дать ход, можно себе здорово навредить, приказал арестовать Губина. А потом, ведь действительно кто-то партизанам донес о походе! Не сорока же на хвосте принесла.

Иннокентия взяли утром, на виду у всей улицы. Брать его пришел сам начальник милиции Тропин и еще трое милиционеров. Кеху нашли во дворе, завернули ему руки, погнали к школе. Выскочила вслед за кормильцем вся семья; хватали за руки конвоиров, но те хмуро отпихивались, щетинились штыками винтовок.

Лучка, старший Кехин сын, выбежал за ворота и замер, застыл лицом, но было видно, как дрожат его руки и он никак не может унять эту дрожь.

На следующий день нашли Кеху за огородами, около усыпанного красными ягодами куста шипишки. Узнали Кеху по одежде да по широкому шраму на плече. Голова была разбита несколькими выстрелами. Не голова, а бурый, спекшийся ошметок.

Схоронили Иннокентия тихо. За гробом шли только родственники да Лучкины друзья – Федька Стрельников и Северька Громов.

Туманным утром Алеха Крюков был вызван к поселковому атаману Роману Романову.

– Ты вот что, – начал атаман, едва Алеха переступил порог. – Готовь подводу. Твоя очередь.

– Куда ехать?

– Узнаешь после. Но не близко. Коней возьми получше. В сани сена побольше положь.

Сам не поедешь.

– Роман Иванович, я своих коней никому не дам...

– Дочь пошлешь. Японцев нужно везти.

– Да ты что, – забеспокоился Алеха. – Да как же я девуку с этими пошлю?

– Ты понимаешь, – вдруг доверительно сказал Романов, – боятся они ехать с нашими мужиками. Вот так. А за девуку не беспокойся. Японцы на морозе смирные. В общем, через два часа подгоняй розвальни к школе. А ехать куда – скажу. В Александровский.

– Чего вчера не предупредил?

– Японцы не велели.

Мороз в ту зиму сразу завернул круто. На Аргуни с пушечным гулом рвался лед. Серое небо низко нависло над селом. Снег под ногами пронзительно скрипел.

– Зачем звали-то? – встретила Алеху у порога жена.

– Японцев в Александровский везти. Устя поедет.

– Матушки мои! Царица небесная, – всплеснула руками жена. – Не пущу девуку! С этими иродами.

– Поедет, – сказал Алеха.

Устю поездка не испугала. За себя постоять она могла. В седле сидела не хуже любого казака. Рослая, крепкая, смелая. И красивая. Над холодноватыми голубыми глазами темные вразлет брови. Многие парни заглядывались на Устю.

– Мать, готовь харч, – строго приказал Алеха. – Я сейчас запрягать буду... Дорогу хорошо знаешь? – спросил он дочь.

– В Александровский завод-то? Знаю.

– Как проедешь Поповский ключ, поднимешься, там спуск по елани шибко крутой будет.

Потом отворот от большака влево.

– Помню.

– Вот-вот. Раскат здесь. Не удержишь коней – вытряхнуть может. Держись за головки.

Через час из ворот крюковской усадьбы на скрипящую от мороза улицу выкатились добротные розвальни. Коней Алеха не пожалел: в корень поставил Каурку, сильного и рослого, который хоть никогда и не занимал на скачках призовых мест, но зато мог без роздыху пробежать многие версты. В пристяжке выплясывала гнедая пятилетняя кобыла. На Усте был добротный полушубок, подпоясанный сыромятным ремнем, собачьи унты. Теплый пуховый плавок закрывал лицо до самых глаз. На правой руке висел ременный бич.

Алеха провожал дочь до школы. Атаман был уже там.

– У них еще не у шубы рукав. Все еще собираются, – встретил он казака. – Да нет, хотя вон идут.

Пятеро японцев уселись в сани, накинули на колени овчинные тулупы. Руки спрятали в рукава, винтовки прижимают локтями.

Каурка, почуяв волю, сделал глубокий выдох, словно знал о дальней дороге, и легко стронул сани. Заскрипели полозья. Устя побежала около саней, оглянулась, махнула стоящим на заснеженной улице мужикам, прыгнула в сани, взмахнула бичом.

– Эх, бедовая, – крутнул головой атаман.

– Не завидую я тебе сейчас, атаман. Время-то какое...

– Хреновое время. Партизаны. Японцы. А тут из станицы требуют оказать помощь по ликвидации партизанских банд.

– Уже один раз ликвидировали, – изумился Алеха. – Неужели еще остались, не ушли?

– «Ликвидировали», – нахмурился Романов. – Они нас чуть не ликвидировали. А мы с помощью Петра Пинигина одного Иннокентия ликвидировали.

– Да неужто, Иваныч...

– Кеху по его доносу стукнули. Будто он партизан предупредил. Ты только помалкивай. Мы с тобой хоть дальние, а родственники. А то и меня могут за огороды вывести.

...Солнце перевалило уже за полдень, когда дорога вывела к дальним покосам. Вон у того колка стояли табором. Семей десять. Весело было вечерами: песни, пляски – не забыть. По росе выходили косить сочную высокую траву.

Дорога пошла в гору. Устя соскочила с саней, пошла рядом, намотав на руку вожжи. Так она делала всякий раз, когда чувствовала, что начинает мерзнуть.

Японцы сидели смиренно, похожие на снежных баб. Спины и головы их покрылись куржаком и снежной пылью. Вначале они изредка переговаривались, но вскоре перестали. Тоскливо посматривали на заметенные снегом сопки. Безлюдье, тишина и сопки. Лишь перед самым перевалом чужестранцы испуганно оживились. Устя недосмотрела. От холода у пристяжки закрыло куржаком ноздри, и она, задохнувшись, упала на колени.

Поднявшись пешком на гору, Устя хорошо согрелась. Только пощипывало руки и лицо. Она остановила лошадей, сбросила мохнашки – большие собачьи рукавицы, сняла варежки, пригоршней зачерпнула колючий снег, быстро растерла руки и лицо. И почти сразу почувствовала, как к рукам хлынула теплая волна.

Устя обошла лошадей, потрогала упряжь, развязала супонь.

– Господин офицер, помочь надо.

Офицер что-то сказал солдату. Тот поднялся с трудом, на негнущихся ногах подошел к головам лошадей.

– Придержи-ка, – скомандовала Устя.

Солдат, щуплый, низкорослый, пытался ухватить тонкий сыромятный ремень, но окочевшие руки не слушались его.

– Иди-ка обратно, садись.

Смуглое лицо солдата стало серым от холода, на ресницах намерзли слезы. Чувство, похожее на жалость, шевельнулось в душе девушки, но она тут же отогнала его. Она подтолкнула солдата к саням, толкнула несильно, но тот упал и не сразу смог подняться.

Наверху, на сопке, было, казалось, еще холоднее.

Устя в сани не садилась, а по-прежнему шла рядом с лошадьми.

– Скорей надо! Скорей!

– Нельзя скорее. Лошади пристали. Еще немного – и с ветерком покатымся, – Устя внимательно посмотрела в лицо офицера. «Замерзает, сволочь».

Перед спуском снова остановила лошадей. Подошла к Каурке, поправила хомут, проверила супонь, чересседельник. Кони потянулись к девушке мордами, терлись о полушубок, очищая носы ото льда. Устя все делала не спеша, обстоятельно. Японцы с суеверным ужасом наблюдали за ней. Потом, бесцеремонно оттеснив солдата, села в сани, щелкнула бичом.

– Пошел!

Кони рванули, холодный воздух перехватил дыхание, брызнул снег из-под кованых копыт коренника. Выстиралась в махе гнедая пристяжка, свистел над головой бич, сливались в серую полосу пролетающие мимо придорожные кусты. Злой восторг захватил сердце девки. Она что-то кричала, захлебываясь обжигающим ветром.

На развилке, где узкий проселок отворачивал круто влево, сани занесло, ударило о кочку. Устя ждала этого поворота и, как клещ, вцепилась в головки розвальней. Краем глаза она видела, как вылетели из саней зачочневшие японцы, как летели отдельно от солдат их лохматые шапки, винтовки. Лишь офицер ухватился за сани и тащился сбоку, силясь что-то крикнуть. Устя полоснула бичом по перекошенному в напряжении лицу и, видя, что японец вот-вот перевернется в сани, выхватила из головок топор. Блеснуло на солнце отточенное лезвие, тело офицера дернулось, перевернулось несколько раз в снежной пыли и осталось лежать на дороге. Хрустнул далеко за спиной одинокий выстрел, заняла высоко над головой слепая пуля.

Лошади во весь опор уходили от развилки дорог. Устя погоняла, не жалея мокрой, исполосованной бичом широкой спины Каурки. Остановилась нескоро, лишь спохватившись, что так можно загнать коней насмерть.

Вздрагивая от пережитого, она обошла тяжело поведивших потемневшими боками лошадей, проверила упряжь. Вытащила из-под оставшейся соломы потники, накрыла ими спины Каурки и пристяжки. Потом легко тронула вожжами. Объехав остроголовую сопку, она увидела, как наперез ей, из сиверка, движутся трое верших.

– Эй! Стой!

«От этих не убежишь», – мелькнула у Усти мысль. Она натянула вожжи и, опасливо всматриваясь во всадников, стала ждать.

Подъехавшие были в коротких козых дохах, до глаз закутанные в башлыки. Поперек седел лежали винтовки.

– Гордая стала, не узнаешь, – хохотнул мужик на высоком белолобом коне.

На такую удачу Устя не надеялась.

– Братка! Кольша! – и, сама не ожидая того, заплакала.

– Поздоровайся вначале, девка, а потом реви.

– Дядя Андрей! Да как вы тут... Ей-бог, не узнала, – заговорила она сквозь слезы, но уже улыбаясь. – А это с вами, третий-то? Его уж совсем вроде не знаю.

– В Ключах не бывала? Тогда не знаешь. Хочешь, так познакомлю?

– Куда, сестра, путь держишь?

Устя вздохнула.

– Куда ж мне теперь деваться. К вам только.

Волнуясь, Устя рассказала обо всем.

– А он уцепился и тащится обок саней. Тогда я топором его...

– Не журишь, девка.

– Так человека же порешила...

– Эка невидаль, – дядя Андрей зло мигнул. – Да и не человек он. Для нас, по крайней мере. Кто тебя надоумил вытряхнуть их!

– Тятя, кто больше. Он говорит, японцы на морозе хлипкие, быстро заоченеют.

– Надежный мужик у тебя, Николаха, отец.

Покурив, всадники разделились. Николай поехал проводить Устю на одинокую заимку, куда не заглядывали ни белые, ни японцы, а дядя Андрей с ключевским мужиком решили съездить к развилке дорог.

– Надо глянуть на твое дело, девка.

До зимовья оказалось недалеко. Хозяева были знакомыми и встретили гостей радушно. Загудел на земляном полу пузатый самовар, хозяйка сбегала в занесенный снегом балаган, служивший кладовой, принесла миску твердых, как галечник, мороженых пельменей, кружок сливок.

Только теперь Устя почувствовала, что с утра не ела. Перед тем как сесть за стол, она повернулась к темной иконе Божьей Матери, жарко зашептала молитву, закрестилась.

Николай с удивлением смотрел на сестру, но ничего не сказал. Устя села за стол с покрасневшими от слез глазами, скорбно поджав губы.

Николай все же не выдержал.

– Георгию Победоносцу надо было молиться. Да радоваться. А ты реवेशь. Слышь, паря, – обратился он к хозяину, – сестра-то у меня какая! Японца зарубила.

Хозяйка откинула с головы платок, чтобы лучше слышать, замерла у печки, с жадным любопытством уставилась на гостью.

Хозяин, звероватый мужик, до глаз заросший бородой, довольно крякнул.

– Выпить надо по этому поводу, – сходил за ситцевую занавеску, вернулся с бачком китайского контрабандного спирту. – И ты, девка, выпей, погрей душу.

– Не пью я.

Николай тряхнул чубом.

– Можно. Немножко можно.

Жидкость обожгла горло, затуманила голову, растопила на душе тяжелую ледышку.

За маленьким промерзшим окошком залаляли собаки, заскрипел снег. В зимовье ввалился дядя Андрей.

– Молодец, девка! Тебе бы казаком родиться надо, – простуженно захрипел он от порога. – Трое солдат, как вылетели из саней, так и не поднялись. Одного, правда, на дороге нашли. Винтовка рядом.

– Верно, он стрелял.

– Так на дороге и заоченел. Снесли мы их в овражек от дороги подальше. Снежком закидали. И офицерику туда же доставили. Теперь если их и найдут, так только весной.

Уже потемну маленький отряд собрался в дорогу.

– Спасибо, хозяйева, за хлеб-соль, – попрощался дядя Андрей. – Устю мы забираем с собой. В поселок ей не вернуться. Вы нас не видели. А то Тропин или Букин прознают...

– Не выдумывай, не гневи Господа.

Хозяйка у порога поцеловала гостью, перекрестила.

– С Богом, милая.

Ее муж вышел во двор без шапки, в одной рубахе и так стоял, пока не затихли за темной завесой скрип полозьев и топот лошадей.

В поселке стало слышно, что партизаны напали на японцев, уехавших в завод. Что в перестрелке убили Устю и лошадей.

Кто принес эти слухи, неизвестно, но они упорно кочевали из дома в дом, обрастая страшными подробностями. Алеха Крюков на людях ходил пасмурный, разговоров о дочери избегал.

– Не бреди душу, – обрывал он собеседника, если тот начинал неуместный разговор.

Жена его, увидев жалостливые глаза соседок, принималась плакать.

Крюковы знали о судьбе дочери, но делали вид, что слухам верят. Матери же даже не приходилось и притворяться. Она и верила сообщению тайного гонца, и жадно прислушивалась к разговорам.

– Ох, болит мое сердце, – жаловалась она Алехе.

Семеновская милиция Алеху не трогала. То ли она сама ничего не знала, то ли не хотела, чтобы японцы знали правду. Ведь как-никак в том, что случилось, есть немалая вина и милиции: знать надо, кого в проводники союзникам определять.

Морозы не отпускали. Японцы растаскивали в поселке изгороди, отбирали дрова и аргал. Над белыми трубами школы круглые сутки дрожали дымки. Школу превратили в крепость. С наружной стороны школьного заплота построили ледяной вал. В заплоте прорубили бойницы. Мимо школы проходить страшно. Не стреляют оттуда, из-за ледяных заплотов, не кидают на шею прохожим волосяные арканы, а страшно. Чужой стала школа, непонятной. Иногда провозят туда каких-то людей и ворота в ледяной стене захлопываются за ними, как капкан. И как-то уже под утро донесся из школы хриплый смертный крик, да и оборвался разом.

В поселке о японцах говорили темное, нехорошее. Будто в углу ограды лежат поленницей русские мужики в исподнем. Мерзлые. Будто пол в боковой комнате липкий от крови.

Но при встречах со справными казаками японский офицер вежливо и загадочно улыбался.

– Русский мужик, хороший мужик, – говорил он.

Поговаривали, что скоро каждый двор должен отдать чужакам по овце и по пуду пшеничной муки. Пшеничной потому, что яришной они не едят. Последнее почему-то особенно озлобляло, и даже из богатых домов на японцев посматривали косо.

– Этакую прорву кормить... Крупчатку им подавай.

Японцы без надобности в морозные дни на улицу не показывались. Шубы и лохматые шапки мало спасали от холода. И как-то случилось совсем удивительное.

Рано утром, задолго до света, гнал Алеха Крюков на водопой оставшихся трех коней. Недалеко от школы, там, где улица перегорожена волокушами и телегами, обычно торчал часовой. Стоял он и сейчас. Хоть и знал старый казак Крюков службу, а заговорил с часовым.

– Что, паря, стужа? Холодно, говорю.

Японец ничего не ответил, даже не повернул голову.

– Ну и хрен с тобой, – обиделся Алеха и, перекинув с плеча на плечо пешню, свернул в проулок, ведущий к Аргуни.

Разбив в проруби лед и напоив лошадей, Алеха той же тропинкой возвращался домой.

Часовой стоял в прежнем положении, широко расставив ноги, опираясь на винтовку, и затаенно, недобро молчал.

Не снимая рукавицы, Алеха перекрестился, кошачьими шагками приблизился к японцу. Заглянул под башлык. Он увидел белое застывшее лицо, льдинки, сморозившие веки.

– Отвоевался, – шепнул Алеха.

Дома он рассказал о замерзшем на посту часовом, а к полудню об этом случае знал весь поселок. Оказывается, и еще кто-то видел японца, но уже без винтовки. Винтовку стащили. В сердцах Алеха хлопнул широкой ладонью по столешнице, да так, что подскочили и испуганно звякнули стаканы. И ушел во двор. Жена посмотрела ему вслед, недоумевая: что бы это так могло разозлить мужика?

II

На зиму чуть ли не половина поселка выезжала на заимки со скотом. Оставались лишь те, кто косил сено на острове да по ближним падам, не вытопанным стадами за лето, или те, кто мог вывезти сено издалека. Остальные заколачивали дома, определяли учеников к знакомым и уезжали на Шанежную, на Веселую, на Ключевую. Жили в землянках, вместе по две-три семьи.

Нынче собирались ехать на заимки с большой охотой: спокойнее там, от чужаков подальше. И учеников взяли с собой. Школа все равно не работала.

На заимках вроде ничего не изменилось. Как во вчерашнюю жизнь без войны, без душегубства вернулись. Правда, на Шанежной стоят три десятка казаков – прессуют сено, но они власть свою мало показывают: сеном занимаются да присматривают за семьей партизанского атамана Осипа Смолина, как бы не сбежала.

Шанежная – заимка большая, землянок пятьдесят. Степанка и Шурка Ямщиков с толпой сверстников целыми днями в сопровождении собак носились по тропинкам между землянок, уходили в сопки, ставили по сиверкам петли на зайцев.

Степанке накануне Первого Спаса исполнилось двенадцать годов. Большой уже. Две зимы в школу ходил. Когда-то – Степанка это знает – жили они хорошо, справно. Каждую осень забивали на мясо корову, бычка-двухлетку, три-четыре овцы. Были у них и добрые кони. Но приключилась беда: злосчастной ночью переправились с той стороны хунхузы и угнали косяк коней. Попали в этот косячок и четыре – самые лучшие – лошади Степанкиного отца, Илюхи Стрельникова. Другим домам вышел, конечно, убыток немалый, а Стрельникову – прямо разор. Подался тятка с двумя приятелями – с Алехой Крюковым и Никодимом Венедиктовым – по следу хунхузов. След потеряли, и приятели вернулись обратно. А тятка – по их рассказам – решил махнуть на Хайларский базар, где часто сбывали хунхузы ворованных лошадей. Приятели Илью отговаривали, пользы от этого получилось мало. Уехал Илья и с тех пор сгинул. Шесть лет прошло. Был бы живой – давно уж вернулся. Остались шестилеток Степанка и его тринадцатилетний брат Савка без отца.

Федоровна, мать Степанки, два года ставила в церкви свечи толстые, яркого пламени, рублевые. А потом потоньше – где их, рублей этих, взять.

Через два года надела черный платок, плакала, билась на холодном церковном полу, молилась. Оплывала, таяла перед образом тоненькая свечка, поставленная за упокой раба Божьего Ильи.

– Господи... Господи-и... Жить как? Научи.

Умела Федоровна мало-мало бабничать. Пригодилось.

Все кусок хлеба в дом. С тех пор стала для многих бабушкой. В тридцать семь лет-то – бабушкой. Го-осподи! Милостивый!

– Не ропщу я, Господи. За грехи наши тяжкие наказуешь... не ропщу я...

Год назад женила Федоровна старшего сына, Савку. Хоть и рано женить, а женила. Крепче привязан будет к дому. Время-то смутное, не доглядишь – уйдет из дому. Хоть к этим самым партизанам уйдет. А от жены не так просто. На службу Савку не возьмут – хромает парень.

Ударившие морозы загнали ребятишек в жилье. Заледеневшие окошки пропускают мало света, и в просторной землянке даже в полдень стоит полумрак. По углам прячутся густые тени. Федоровна, мать Степанки, в землянке за старшую. Народу в землянке живет много. Благо уже все большие. Степанка младший, а уже помощник.

Но больше всего в это беспокойное время доставляет забот крестный сын и племянник Федька, рыжий насмешливый парнюга.

Вот и сейчас он вместе со своими дружками Лучкой Губиным и Северькой Громовым ввалился в зимовье. От полушубков парней пахнет свежим морозным днем, остречным сеном, лошадьми.

– Эх, как тут тепло, – крикнул он, раздеваясь. – Погреемся сейчас! Молодец Пегашка.

– Опять бегали?

– Да нет, тетка, старый долг с белого воинства получили, – хохотнул Федька. – И сейчас, не рыдай, мать, во гробе, будем гулять.

Парни разделись, подсели к столу.

– Шибко отчаянные вы, ребята, – не унималась Федоровна. – Поосторожнее вы с ними. Как бы беды не нажить.

– Не бойся, крестная. Ухо мы держим остро. Чуть что – и поминай, как звали.

– Спаси вас Христос, – Федоровна крестит парней. – Забубённые вы головушки. Научили бы лучше ребятишек, как петь Рождество.

– Это мы можем, нам это раз плюнуть, – отозвался Северька. – Степанка, Шурка, идите-ка сюда.

Северька прокашлялся и монотонно начал:

– «Рождество твое, Христе Боже наш». Повторяйте.

Ребята нестройно подтягивали.

– Это значит, и вам и нам, и никто в обиде не будет. Теперь дальше. «Воссияй мира и свет разума». А это я и сам не пойму что к чему. Да и знать-то это, пожалуй, не надо. Одна морока. Вот и поп, не поймешь, что гнусавит. Так и вы: пойте, что на ум взбредет.

– Хватит тебе, бесстыжий, – прервала Северьку Федоровна. – Еще научишь непотребному, богохульник ты эдакий!

Федя и Лучка хохотали.

– Ладно, крестная, он больше не будет.

Редко Лучка теперь смеется. После смерти отца затаился в себе. Но друзей держаться крепче стал: всюду с ними.

Федоровна жалеючи смотрит на парня: еще одного жизнь обездолила. Пусть посмеется.

Ребятишки еще несколько раз спели непонятные слова Рождества.

– А теперь, робята, спать, если хотите завтра раньше других поспеть.

Рождество – праздник большой. Весь день разгульные компании ходят из землянки в землянку, поздравляют хозяев с праздником, обнимаются и целуются. Появляется на столе контрабандный спирт. Курят все, и синий дым плывет над столом. До позднего вечера пляшут подвыпившие люди, стелются в морозном воздухе пьяные голоса.

Праздник начинали ребятишки. Шурка прибежал будить Степанку, когда Федоровна еще не начинала топить печь. Спустив ноги с нар, почесываясь и зевая, крестя рот, она беззлобно ворчала:

– Я посмотрю, еще, однако, ночь, а они уже собрались славить. Подай-ка, Степанка, курму. Шалюшку тоже.

Всякий раз, когда обитая кошмой дверь открывалась, в землянку врывались белые клубы морозного воздуха. Мать вернулась с улицы со стопкой аргала.

– Стужа-то какая, оборони бог. Не досмотришь, когда корова будет телиться, – беда. Телка сразу загубишь.

Шурка нетерпеливо ерзал на лавке.

– Рано, рано. Не торопитесь, успеете. Далеко до свету.

– Бежать надо, ребята. Другие раньше вас поспеют.

– Да куда ты их, Савва, посылаешь? – накинулась Федоровна на старшего сына, появившегося из-за ситцевой занавески. – Ознобятся. Еще черти в кулачки не били, а им уж идти.

– Черти, мать, по случаю Рождения Христа, может, совсем бить в кулачки не будут, – Савва обувается, прилаживая к унтам новые подвязки с медными кольцами и винтовочными пулями на концах.

– И ты богохульничаешь, Савка. Грех ведь. Еще харю свою не перекрестил, а о чертях говоришь, – Федоровна гремит ухватом у печи.

– Ничего: мы с чертями дружим, – сказал Савва и, втянув голову в плечи, выскочил за дверь, опасаясь крепкого удара ухватом.

– О Господи, прости его, дурака такого, – закрестилась мать в темный угол. Затем подошла, зажгла маленькую лампадку. Слабенькое пламя высветило иконы.

– Помолиться надо, робяты.

На одной из икон был изображен Иннокентий – чудотворец иркутский. На плечи чудотворца наброшена накидка. В руке палка с набалдашником. Глаза у Иннокентия удивленные, словно спрашивающие: «А что бы еще сотворить чудное, братцы?»

Позапрошлой осенью, когда перегоняли скот на заимку, мать затолкала ему икону под рубаху. День был теплый, солнечный, коровы и телята шли хорошо, но икона измучила за двадцативерстную дорогу. Подложить под икону нечего: на плечах одна рубаха да доставшаяся от старших братьев теплушка. Иннокентий и медный крестик на гайтане, который Степанка носил с тех пор, как себя стал помнить, стерли грудь до ссадин. Пот разъедал маленькие ранки и делал их большими, жгучими. «Выброшу чудотворца», – решал Степанка, но, представив, как выпорот его мать ременным чересседельником, только крепче сжимал зубы.

– Молись, молись, – подтолкнула мать Степанку. – И ты, Шурка, вставай на колени. Не бойся, спина не заболит, рука не отвалится.

Рядом с Иннокентием – Георгий Победоносец, лихой казак на белом коне. «И смелый же мужик, – думает Степанка. – Против такой змеи с пикой не убоился. Седло только непонятное. Не казачье, да и не бурятское».

Еще из угла строго смотрит Матерь Божья – троеручица. Степанка молится, осеняет себя крестом. Летают сложенные щепотью пальцы ото лба к животу, с плеча на плечо.

А Симка Ржавых хохотала и была очень красная, когда Федя затолкал ей руку за воротник кофты... А когда Усте Крюковой тоже кто-то из парней хотел сунуть руку под кофту, так по зубам получил.

– Ну, с Богом, робяты, бегите, – прервала степанкины мысли мать. – Зайдите наперво к Андрею Темникову, потом к Венедиктову Никодиму, дальше к Петуховым... Собак бойтесь! – крикнула она, когда дверь уже глухо захлопнулась.

Холод прилип к ребятишкам, забрался под курмушки, заставил втянуть голову в плечи. До света было еще далеко, звезды сверкали льдисто и остро. Снежные суметы отливали синью, перемежаясь черными провалами. Где-то в конце заимки лениво лаяли собаки.

– К кому перво пойдём?

– Как мать сказала – к Темниковым.

Свернули по тропке к большой землянке, в темноте нашарили скобу. Переступив порог, сдернули шапки, перекрестились в передний угол. Подтолкнули друг друга локтями.

– Рождество твое, Христе Боже наш...

Получалось не очень стройно, но братья Темниковы и их жены слушали серьезно.

Ребятишки пели, а сами косили глазами в куть, где в глубоких чашках лежало угощение для христовлавщиков.

Певцы начали врать слова, братья стали прятать друг от друга глаза, подрагивать плечами, но дослушали до конца.

Из землянки ребятишки выскочили счастливые. Темниковы щедро наградили их конфетами, пряниками, жареными бобами.

В переулке около Шимелиных с лаем кинулась к ногам собака. Отбиваясь палками, юркнули в зимовье.

Мороз уже не пугал. Ободренные удачами, Степанка с Шуркой торопливо перебежали от одной землянки к другой.

К Смолиным не пустили. Жена партизанского командира живет под надзором. Откуда-то из темноты вышел одетый в тяжелую доху казак и грубо оттолкнул от дверей.

– Нечего делать. Бегите отсюда.

Ребятишки не обиделись. Вон еще сколько землянок надо обойти, успеть раньше других. Возле зимовья, где жила семья начальника милиции, остановились.

– Зайдем али как?

Тропин на Шанежной появлялся редко. Только на праздники. Остальное время проводил в поселке. Поговаривали, что начальник милиции побаивался партизан, потому и увез семью сюда. Сам же в своем доме не живет, а поселился у богатого казака, как раз напротив занятой японцами школы.

– Зайдем, – махнул рукой более решительный Шурка.

У начальника милиции ребятишки еще никогда не были. Землянка оказалась вместительной, высокой, светлой. Над столом китайская подвесная лампа. Перед иконой горит желтым светом десяток свечей.

Ребятишки запели «Рождество», с любопытством разглядывая празднично одетых хозяев. Блестят на голове у Тропина гладко прилизанные волосы, блестят погоны, бегут искорки по шелковому платью у его бабы.

– Здравствуйте, хозяин с хозяйшкой. С Рождеством Христовым вас...

Домой Степанка вернулся поздно, с солнцем. Карманы раздулись от угощений. Под мышкой торчала огромная бычья нога. Савва, увидев ногу, захохотал.

– Холодец варить будешь? Кто ее тебе отвалил?

– Начальник милиции. Я ее выславил.

Савва помрачнел.

– Какой леший тебя гнал туда? Поздравил, значит, с Рождеством... Знать надо, куда идешь. Не маленький!

Жена, Серафима, остановила мужа.

– Не горячись. Откуда ему все знать.

В этот день в семье Стрельниковых произошло большое событие. После второго часа Серафима, ходившая с большим животом, заохала, схватилась за поясницу, легла в постель. Глаза ее стали большими и жалобными.

Хотя в землянке было тепло, Федоровна распорядилась принести сушняка и аргала, затопить печь.

– А теперь, робяты, оболакайтесь и уходите. Домой не возвращайтесь, пока не позовем.

Бабку к Стрельниковым звать не надо. Наоборот – Федоровну в другие дома зовут. Корова не может растелиться – зовут. Бабе пришло время рожать – без Федоровны не обходятся. Болезнь какая – опять идут к ней. Зовут с уважением, потому как Федоровна и дело свое знает, и без божеского слова шагу не сделает.

Степанка рад случаю удрать из дома. Особенно сегодня, когда все гуляют, все добрые.

Савва полдня продежурил у входа в зимовье. Не пускал никого.

Вечером Степанку позвали домой.

– У тебя, Степа, теперь есть племянница.

Друзья мало похожи друг на друга. Федор Стрельников – рыжий. Голова большая, круглая. Огненные космы выбиваются из-под черной барашковой папахи. Глаза синие, с хитрым прищуром.

Настырные – говорят о его глазах. И еще говорят, что Федька не боится ни Бога, ни черта, ни поселкового атамана. В прошлом году, на Пасху, подошел к парням, катающим бабки, писарь Иван Пешков.

– Это вы вчера горланили похабные частушки? И про попа пели, лицо духовного звания. А твой голос, Федька, я доподлинно слышал.

– Может, и слышал, а что? – повернулся к писарю парень. – Голос тебе мой поглянулся? В церкви на клиросе петь зовешь?

– Обожди, вот покажем мы тебе клирос, тогда запоешь. Небо с овчинку увидишь. И про водку забудешь.

Федька ощерился, бросил бабки, взял писаря за пуговицу, сказал ласково:

– Мне что забывать. Вот ты, когда к Аграфене снова вечером пойдешь, не забудь. Хорошая у тебя водка была тот раз.

Писарь дернул головой, будто его ударили по ядреным зубам.

– Не мели, чего не след.

– Может, напомнить?

Парни сгрудились вокруг, чувствуя возможность посмеяться.

– Давай, Федча, громи писаря.

– Это, значит, идет один казак, к плетням прижимается, чтоб его никто не видел. Потом подходит к одной избе, в ставень тихонечко так: тук-тук. «Это я, говорит, Груня, Иван Пешков». И фамилию назвал, чтоб, значит, с царем, Иваном Грозным, не спутали. Как-никак тезки они, Иваны Васильевичи.

Конопатое лицо Федьки светится улыбкой. Пешков рад бы уйти, но парень не отпускает его.

– Не, ты уж подожди. Дослушай, коли разговор пошел... Заходит, значит, казак, бутылочку на стол ставит. «Дымно у тебя, Груня, что-то. Накурено». Потом с обнимками, с целовками полез. Схватила баба мутовку и мутовкой его. Болит спина-то, дядя Ваня? Не-не, – замахал Федька руками, – это я так, к слову. Выскочил за дверь тот казак и бутылочку забыл на столе. Хар-рошая водка была. Выпил я ее, дядя Ваня, ты уж не сердись.

Парни хохотали, багровела шея у писаря, а Федька вдруг стал серьезным.

– Смотри, Иван Васильевич, – парень постучал в его грудь толстым пальцем с грязным ногтем, – придешь еще раз к Груньке, не узнаю я тебя впотьмах – поломать могу.

Пешков притих, сказал спокойно:

– Сатана ты рыжий, а не человек. Я старше тебя в два раза, а ты насмешки строишь. Злой у тебя язык.

– Мир, дядя Ваня, – Федька с силой хлопнул писаря по плечу. Иван Васильевич качнулся, скривил лицо.

– Однако тяжелая у тебя рука, паря. Я пошел. Но вы про попа частушки больше не пойте. Старики осердиться могут.

Северька Громов повыше Федьки будет. В плечах пошире. И поаккуратнее. Такие в гвардии стоят правофланговыми. Любил Громов петь. Горласто, так, что на другом конце поселка слышно. Пел он старинные казачьи песни; иногда вместе с Федькой, озоруя, выкрикивал частушки. Был Северька силен, но силой своей никогда не баловался, не хвастался.

Трудно вывести парня из себя, но можно. Как-то на вечерке старший сын Ямщикова Васька, подвыпив, начал куражиться. Васька лез целоваться к девкам и, когда те его оттолкнули, по-всякому обозвал их и стал приставать к парням.

– Кто на кулаках супротив меня устоит? Выходи на круг. Разрешу первому ударить. Только потом уж не обижаться. Хошь, Федька?

Рыжий не заставил себя упрашивать.

– Хочу. Только на улицу пойдем.

– Брось ты с ним связываться, – остановил друга Северька.

– А, боишься, – обрадовался Васька. – И почему это со мной связываться нельзя? Я дурак, по-твоему, да? Обожди у меня.

Васька вскоре вернулся еще более пьяным. Он хотел драться. Опытным взглядом Федька заметил, что правый карман штанов парня подозрительно оттянут. Там гирька на сырмятном ремешке или свинчатка.

Пьяный еще раз попытался привязаться к Северьяну, но тот только отмахивался, как от назойливой мухи, посмеивался. Окончательно обозлившись, Васька матерно обругал Северьку и, чуть пошатываясь, пошел в угол, где сидели девки. Он прищурился, словно прицелился, остановил взгляд на Усте Крюковой. Все знали, что Северька подолгу простаивает с Устей около крюковских ворот. Знал и Васька. Он шагнул к Усте, обхватил длинными руками, навалился грудью. Устя ударила кулаком в пахнувший ханьшином рот. Васька отшатнулся и, выкрикнув матерщину, полез снова. Прыгнул из своего угла Северька, рванул обидчика за ворот, смял, схватил в охапку, швырнул к двери. Парень, пролетев пол-избы, ударился о дверь; дверь распахнулась, и он вылетел в сени. Следом выскочил рыжий Федька и вскоре вернулся один.

Третий из друзей, Лука, или как его все зовут – Лучка – тоненький, гибкий. Большие серые глаза смотрят задумчиво и чуть грустно. Нос с маленькой горбинкой, нервные ноздри. Нет в нем лихой казачьей грубости, силы. Похож Лучка на поджарую хищную птицу. Считается он первейшим музыкантом. Гармонь ли, балалайка, скрипка ли, невесть откуда попавшая в поселок, издают в его руках удивительно ладные звуки.

Есть у Лучки маленький лохматый конек. Вид у конька никудышный, казаки, прессовавшие на заимке сено, откровенно потешались над ним. Как шутку восприняли они предложение Федьки пустить Пегашку с любым конем из сотни.

Сделка состоялась. Всем на заимке памятен этот случай.

Бега назначили за две недели до Рождества Христова. Парни собрали деньги, Федька увез в китайские бакалейки тарбаганьи шкурки, достал овса. Каждый день выводил Пегашку на прогулку. По совету Федоровны выводили ранним утром, боясь дурного глаза.

Год назад пускали Пегашку с бегунцом купца Пинигина. Как и положено, на Пегашке сидел худенький подросток в белой, заправленной в штаны куртке. На ногах у парнишки только вязаные чулки. На голове – платок. Когда развернули коней после третьего круга и крикнули: «Ну!», Пегашка сделал такой прыжок, что хоть и держался седок за гриву, а слетел через круп на землю. А бегунец, словно ничего не случилось, вытянувшись струной, летел к мете. С тех пор пускали его всегда без седока. Только узду заменили сшитым из фитиля недоуздом.

Смотреть на бега высыпала вся заимка. Иные приехали верхами, иные в кошевках, большинство – пешком, благо недалеко. Пестрая толпа колышется по обе стороны дороги. Мороз сдал, но воздух льдисто искрит. Плавают над головами легкие облака белого пара, розовеют лица. Степанка и Шурка шныряют среди толпы, прислушиваются, о чем говорят люди. В кругу баб рассказывают, что на прошлых бегах испортили дурным глазом коня старика Мунгалова.

– Летит эт-то бегунец, а на ем Прошка, внучонок Мунгалова. Уж с полверсты пробежал, глядит Прошка, а впереди бочка катится. Большая такая бочка. Он коня в сторону, чтоб обскакать, – и бочка в сторону. Он в другую, и она в другую. Бочка-то. И уж у самой меты пропала.

– Эй, народ, – кричит Проня Мурашев – на бегах он за старшего, – прошу порядок соблюдать, если не хотите, чтобы ваши посельщики проиграли!

Проню слушаются. Проня в поселке – человек уважаемый, десятский. За широкий, из синей далембы, кушак засунут черенок нагайки. А рука у него тяжелая.

Первыми приехали армейцы. Они привели статного рыжего жеребца. Со звездой во лбу, белоногий, с высоко поднятой головой, широко раздувающий розовые ноздри, он невольно вызывал восхищение. Когда привели невзрачного Пегашку, казачий жеребец показался еще

более красивым. Лучкин конь вызывал у казаков откровенную насмешливую ухмылку. Они отпускали шуточки по поводу его косматых ног, хвоста, похожего на громадную метлу, длинной гривы. Конек стоял смиренно и как будто дремал. Толпа смотрела на лохмача с жалостью, хоть и знала о его удивительной резвости.

- Какой из него бегунец, одни слезы!
- Скорей на барануху похож, чем на коня.
- По пьянке заспорили. Просадят последние деньги.
- Лучка-то вон какой скучный. На попятную бы, да поздно.
- А рыжему Федьке все хаханьки.

Коней повели на место забега. Белоногий нетерпеливо выплясывал, раздувая ноздри; лохмач шел за кошевой спокойно, равнодушно, словно на водопой.

Перед тем когда парни объявили, что пустят Пегашку без седока, вышла заминка.

– Не выйдет, – заупрямились армейцы. – Вашему коню будет легче бежать.
– Давайте и вы без седока, – равнодушно предложил Федька. – На равных условиях, значит.

– Н-но! А вдруг конь в другую сторону побежит. Или остановится.

– Видите, как мы рискуем, – Федька весь доброжелательство и простота.

Толпа в напряжении. Вот-вот из-за угла синей сопки покажутся две темные точки. Друзья стоят среди своих заимских, тихо переговариваются, курят. На другой стороне столпились армейцы.

А в это время в трех верстах от заимки старик Громов и чубатый казак разводили бегунцов. Повели на третий, последний, круг. Сердце у старика колотится в ребра. Пегашка словно проснулся, рвется из рук. Казак суров, но спокоен. Прилип к крупу рыжего жеребца седок. Последние шаги до черты бегунцы идут ухом в ухо.

– Ну! – крикнули разводные.

Брызнул из-под копыт лежалый снег. Пегашка сразу обходит своего соперника. Что-то дикое и вольное проснулось в маленькой лошадке. Трубой вытянут хвост, развеивается грива. Рвет навстречу тугой ветер. Голова, шея, туловище и хвост в одной линии стелятся над дорогой. Ноги живут сами по себе. Они секут снег, едва поспевая за своим хозяином.

Толпа зашевелилась. Две черные точки, появившиеся на снежной белизне, вырастают, приближаясь. Осталось триста сажень. Сто! Все видят, что Пегашка впереди. Не выдержав, толпа закричала, засвистела. Полетели вверх шапки. Лохмач, пролетев мету, не сбавляя хода, понесся к заимке, к своей кормушке.

Сосед Лучки, Тихон, специально не поехавший на бега, поймал Пегашку.

– Ну, что мотаешь головой? Запалился? Вот побегаем с тобой маленько, остынем, потом уж за овес примемся.

Конек, мотая головой, возбужденно фыркал. Вскоре приехали Лучка, Федька и Северька. Казалось, Федькин чуб стал еще краснее. Северька похохатывал, задирали друзей, сталкивал их в снег.

– Не подкачали, братцы! – крикнул Тихон, бегом водивший Пегашку по ограде. – Утерли нос им. Знай наших.

На вырученные деньги исполнили давнюю Лучкину мечту: купили гармонь. С колокольчиками. Большую часть унесли в китайские бакалейки за долг, за ханьшин.

Предлагали армейцам еще раз устроить бега. Но те обругали парней.

– Мазурики вы, больше никто.

Вечером гуляли. Подвыпив, Федька завел старый разговор. Если бы услышал Пинигин, дальний родственник Иннокентия Губина, о чем говорят парни, потерял бы мужик сон. Петрово лихое действо уже давно выползло на люди. Шепотом, с оглядкой, но дало о себе знать. Безвинную кровь не спрячешь, все одно она себя покажет. Хоть и немало времени иногда пройдет.

От разговоров таких у Лучки узко щурятся глаза, белеют крылья носа.

– Подкараулим гада у проруби. Когда коней поить пригонит, – Федька пьет много, а не пьянеет. – Был дядя Петя, и нет Пети. Сазанов под водой руками ловит. Так, Северька?

– Порешить его непременно надо. Только у реки не пойдет. Увидит кто ненароком... За сеном когда ежели поедет... Скараулить.

Большой ум у Северьки.

Друзья гуляют в Стрельниковской бане. Пить можно – сколько спирту будет. Никто под руку ничего не скажет. И говорить без боязни обо всем можно.

Оплывает желтая сальная свечка. Мечутся по низким бревенчатым стенам лохматые тени. Плохо, видно, спит сейчас Петр Пинигин.

Лучка вдруг схватил душивший его ворот рубашки. Посыпались на неровный стол мелкие пуговицы.

Тяжело друзьям смотреть, как изводится парень. Мучает его отцовская неотомщенная кровь.

Федька утешает по-своему: протягивает стакан разведенного спирта. На, выпей. Пусть накатит на душу жаркий туман, приглушит обиду.

– Не пропадет за нами. Как палка за собакой.

Устю в партизанском отряде встретили радушно. В землянку, где она остановилась, набилось много народу. Были среди них и поселыщики.

– Живут-то как наши там? Рассказывай.

Изменились их с детства знакомые лица. Заросли бородами, посуровели. Нелегко, видно, дается война.

– Тихо у нас. Будто вас, партизан, и нету вовсе. Букин говорит, разогнали вас по лесам, – Устя покраснела. – Извините, если не так сказала.

– Все так, девушка, сказала. Правильно, – раздался от двери голос.

– Командир наш, Смолин, – шепнул Николай. Смолин протолкался вперед, сел на лавку.

– Но скоро услышат. Богатеи, Семенов да японцы думают, что разгромили нас. Загнали в тайгу, откуда мы и не высунемся. А мы живы. И снова собирается сила, – Смолин сжал кулак, стукнул им по столешнице. – К Иркутску Красная Армия подходит. Регулярная. Скоро всем сволочам жарко будет.

Партизаны задвигались, зашумели. Поползли к низкому потолку едкие дымки самокруток.

– Тропин чего поделявает?

– Семейку на Шанежную увез. Сам у Богомяковых живет. Вечером один по селу не ходит.

– Вот, а ты говоришь, не слышно о нас, – Смолин заулыбался. – Бойтся нас, вот и семейку увез, чтоб одному сподручнее удирать. Знает, что мы с бабами не воюем.

Поселилась Устя в землянке, оборудованной под лазаретную подсобку. Заправляла всем здесь рослая грудастая казачка: строго стерегла бутылочки с йодом, скудные запасы перевязочного материала, спирт.

– Вдвоем-то нам с тобой, девка, веселее будет.

Утром Устя проснулась и не сразу поняла, где она находится. Грудастой тетки Дарьи в землянке не было. Девушка открыла тяжелую дверь, зажмурилась от яркого света. Голубело небо. Деревья отбросили на белый снег четкие тени. Где-то недалеко уверенно барабанил дятел.

– Как на новом месте спалось? – крикнул от большого костра Николай. – Кто приснился? На душе у девушки спокойно. Исчезли все вчерашние страхи. Она подошла к брату.

– Варишь? – кивнула она на громадный чугунный котел над костром.

– И это приходится делать.

Устя взяла черпак, помешала варево, почерпнула, попробовала.

– Так и есть, не солено. Эх, мужик ты мужик. Отойди. Сама справлюсь.

К костру подошел дядя Андрей.

– Да, задала ты нам, девка, задачу.

Устя удивленно вскинула брови.

– Бумаги мы у японцев кое-какие забрали. Пакет там еще. Важный, должно быть, пакет, под печатями. А что в этих бумагах, сам черт не разберет. Не по-русски, так оно и есть не по-русски.

На второй день праздника парни и девки собрались на вечерку в зимовье бабки Аграфены.

– А мне чо? По мне хоть до утра пляшите. Зимовья не жалко. Мешать вам не буду.

Аграфена легко, по-молодому взобралась на печь.

– Вот отсюда мне все видно и слышно. Где стаканчики стоят – сами знаете.

Лучка сидит под божничкой. Чуть растягивая меха, играет что-то свое, для себя. Парни и девки приходят, раздеваются, бросают полушубки за печь.

На вечерку пришли и подростки. Они столпились у дверей, с любопытством смотрят на собравшихся.

– Вы, мелочь, идите по домам. Пейте молоко да ложитесь спать, – выпроваживает ребятшек Северька.

– Я их сейчас!

Сделал страшное лицо Федька. Схватил ухват, двинулся на подростков. Те со смехом и криками вылетели за дверь.

– Ты не уходи, – задержал Федька Степанку. – Будешь нужен. А пока шагай за печку и не показывай носа. Не путайся под ногами.

Степанка рад любой возможности остаться и не заставляет себя упрашивать. Все здесь интересно. Он слышит, как Лучке заказали «Подгорную». Гармонист прошелся пальцами по ладам сверху вниз, затем снизу вверх, склонил голову над гармонью, словно прислушиваясь к голосам. Гармонь сделала глубокий вдох и рявкнула. Дробно ударили каблуки, замелькали радужные подолы девок, задрожал огонек лампы.

Чтоб лучше видеть, Степанка забрался на печь к Аграфене.

– Что, Степанушка, прогнали тебя варнаки-то? А ты не обижайся. Тут на печке еще лучше.

– Не, я сам, – засмутился Степанка.

Казалось, плясала землянка. Метались по стенам темные тени, звякала в кути посуда, визжали девки, тоненько заливались колокольцы на гармошке.

Гармошка, будто натолкнулась на стену, замолчала. Лучка вытер вспотевший лоб большим платком. Плясуны кинулись к лавкам. Часть парней прошла за печку. Из-за ситцевой занавески слышалось довольное кряканье, бульканье разливаемой из бутылок водки.

За полночь некоторые стали расходиться, но на вечерке по-прежнему было шумно и весело. Когда закрылась дверь за Васькой Ямщиковым, Федор потянул Степанку за пятку.

– Слезай с печи.

Он наклонился к братану, что-то зашептал ему на ухо. Степанка широко расплылся в улыбке, согласно кивал головой. Затем нахлобучил не по размеру большую шапку, вылетел за дверь.

– Одна нога здесь, другая там! – крикнул ему вдогонку Федька. – Ты чего, друг, грустишь? – толкнул он кулаком в бок Северьку.

Степанка вернулся быстро. С порога он подмигнул Федьке, скинул курмушку и полез на печку.

Тяжелая дверь хлопнула снова. Как ни увлечены были парни и девки танцами, а вошедшего заметили все. Около порога стояла Устя. Белое морозное облачко, прорвавшееся с улицы, медленно оседало около ее ног.

Лучкины пальцы стремительно полетели по перламутровым клавишам, а гармонь, будтохватила живой воды, забыла про усталость, заговорила молодо и чисто. Спавший на полу у двери завернутый в козью доху Леха Тумашев открыл глаза, крикнул удивленно:

– А ты как тут?

Громадный Северька стоял молча и растерянно, счастливо улыбался.

Рыжим чертом прыгнул к двери Федька.

– Устя, в круг!

Зардевшаяся Устя, смущенная всеобщим вниманием, несмело сделала шаг вперед, а затем, словно подхваченная музыкой, порывисто сбросила полусубок, рванулась на середину зимовья.

Вот уже три дня Устя жила на Шанежной у своих дальних родственников. Соседи были надежные, но все-таки при каждом стуке кидалась за ситцевую занавеску. Вездесущий Федька чуть не раньше всех узнал о приезде зазнобы своего друга. От Федьки Устя прятаться не стала, сама вышла из-за занавески.

– А ты чего не удивляешься, что я жива? – спросила Устя.

Федька вместо ответа показал крупные ровные зубы, весело подмигнул.

– На вечерку придешь?

Устя затуманилась.

– Боюсь я. Вдруг кто лишний узнает. Нашим тогда житья не будет.

– А ты не бойся. Придешь, когда одни свои останутся. Я пришлю кого-нибудь. Ты только не спи.

– Да что ты! – Устя обрадованно замахала руками.

Она уже смирилась, что праздник для нее будет скучным, и теперь, счастливая от возможности хоть немного поплясать на веселой вечерке, не скрывала своего состояния.

Серебром заливались колокольчики на гармошке. Не сходила блаженная улыбка с лица Северьки, наверстывая скучные часы ожидания, плясала Устя. От порога хватал за ноги, влаивал собакой и пьяно хохотал нескладный и всегда молчаливый парень Леха Тумашев. За печкой допивал очередную бутылку Федька Стрельников. Спал на печи Степанка. Вечерка шла своим чередом.

Расходились под утро. В стьлом воздухе охрипшие голоса парней выкрикивали частушки. В некоторых частушках в забористый мат вплетались имена поселковой верхушки. Досталось и попу, и начальнику милиции, и даже есаулу Букину.

Трещал лед на Аргуни, лаяли взбудораженные собаки.

Месяц прошел с тех пор, как увезла Устя японцев на завод, а для Северьки кажется – год. Голова кругом, не верится, что вот она, идет рядом, прижимается.

Устя с Северькой от развеселой компании сразу отстали, свернули в узкий проулок.

– Ты сучал без меня? – Устя заглядывает в лицо, гладит рукав парня пушистой варежкой.

Северька молчит. У него вздрагивают плечи, гулко стучит сердце. Земля настыла за длинные зимние месяцы. Холодно на улице. А расстаться, уйти по домам – ноги не слушаются.

– Зачем сюда приехала? Узнает кто.

– Осип и так не отпускал, да я отпросилась... У меня же ни платишка нет, ничего. Перемьтаться не в чем.

Давно утихли частушки, успокоились собаки.

– Ознобишься, Устя, – Северька растирает девке руки, жарко дышит на них. – Век бы тебя не отпускал.

– У нас баню топят. Ягнята там живут. Обогреемся.

Баня встретила теплой темнотой, запахом ягнят, прелью березовых веников.

Северька хотел было чиркнуть спичку, но Устя остановила его, сняла шаль, занавесила маленькое бледнеющее пятно окна, напарила лампу.

– А теперь зажигай.

Вспыхнула спичка. Рядом с собой увидел Северька Устины глаза, полуоткрытые губы.

– Устя!

Спичка обожгла пальцы и погасла. Северька, как лунатик, сделал вперед шаг, протянул руки, и мир перестал существовать.

Назавтра про частушки пришлось вспомнить. В землянку к Стрельниковым зашел Проня Мурашев, десятский. Федька сидел за столом хмурый, с перепоя. В стакане перед ним мутный, зеленоватый огуречный рассол.

– Хлеб да соль, – приветствовал Проня с порога.

– С нами за стол, Прокопий Иванович, – враз ответили Федькина мать и Федоровна.

«Заимочный атаман» прошел вперед, снял папаху, расстегнул шубу-борчатку. Вид у Прони плохой. Лицо бледное, под глазами мешки.

– Я к тебе, Костишна, – проговорил Мурашев. – Насчет сына твоего, Федора.

– Опять чего случилось? – всплеснула руками мать.

– Спроси его, может, скажет.

– Да разве они могут сказать родной матери, – Костишна подбежала к сыну, торкнула сухим кулачком по рыжей голове. – Говори как на духу. Девку каку-нибудь спортил, кобель бесхвостый? Уворовал чего-нибудь?

Федоровна, видя, что над крестником сгущается гроза, поспешила в куть, вышла с двумя бутылками водки, поставила на стол. Федька ободрился, подмигнул Проне. Десятский сделал вид, что не заметил панибратства, но тоже оживился:

– Ничего он не украл. Частушки ночью горланили.

Женщины враз перекрестились. «Слава тебе, Господи, с пустяком пришел десятский. Частушки кто не поет? Все поют».

– К столу присаживайся, Прокопий. Разболокайся и присаживайся.

Проня ладонью пригладил волосы, степенно прошел к столу.

– Тропин сегодня в поселок укатил, а перед этим меня к себе вызвал. Предупреди, говорит, за такие частушки можно и голову потерять.

– Да что ж за такие за частушки? – вытянула шею Костишна. – Ой, да вы выпейте.

Проня с Федькой выпили, морщась, потянулись к капусте.

– Да что ж за частушки? – не отставали бабы.

– Сам точно не знаю, – Проня степенно вытер усы, – но Тропин знает. Нашлись люди, сообщили ему.

После третьей рюмки раскрасневшийся Проня просил Федьку:

– Ты хоть Расскажи, что пели-то. А то пришел ругаться, а сам точно не знаю, за что. Ну, и бесстыжий ты, Федька, – вдруг закричал Проня, увидев ухмылку на лице парня. – Совесть у тебя иманья. Ну, так Расскажи, – закончил он уже миролюбиво.

– Может, еще по одной выпьем, а уж потом...

Заходили кадыки на шеях.

– Про Тропина это, значит, так... Эх, трезвый сразу и не вспомнишь. Хотя нет, стой... Мать, заткни уши.

Федька лениво, без азарта, не пропел, а пробубнил слова частушки.

– И дурак же ты, Федька, – изумился Проня. – Да за такую песню Тропин тебе свободно может карачун сделать. Чего на себе шкуру дерете?

Когда вторая бутылка подходила к концу, Проня расстегнул пуговицы на рубаше, навалился грудью на стол.

– Я так это дело понимаю... Эта милицейская душа вас давно бы к ногтю прижала. Да за семью свою побаивается. Думает, хоть здесь пусть спокойно будет. Он ведь и семью Смолина не трогает, хоть она и здесь живет. Ты меня уважаешь? Но все равно скажи своим друзьям, чтоб потише себя вели.

– Да вон они и сами идут, – припал Федька к окну. – Сейчас мы и поговорим.

Когда вернулся с сеном старший сын Федоровны, Савва, уехавший еще до света в дальнюю падь, в землянке дым шел коромыслом. Лучка играл на гармошке. Северька плясал. Проня и Федька сидели на лавке в обнимку, пели пьяными, белыми голосами. Иногда Проня останавливался, хлопал Федьку по колену.

– Как вы там пели? Сейчас вспомню.

И заливался смехом.

Девки ворожили. У Симки Ржавых. Сговорились они еще вчера. Не забыли позвать и Устю Крюкову.

– Только крадче от парней надо.

– Да я и, вообще-то, ото всех прячусь.

В зимовье у Симки стариков нет. Их она еще днем спровадила к кому-то из родственников. В землянке сейчас тишина стоит. Девки разговаривают шепотом. Нервно посмеиваются.

– Первой Солоньке будем ворожить, – распоряжается Симка.

Солонька, некрасивая, сухопарая деваха по прозвищу Оглобля, пугается:

– А может, не мне? Мне потом.

Но подругам любопытно чужую жизнь подглядеть.

– Тебе, тебе. На жениха.

Симка бросает на жестяной противень ком бумаги, поджигает его. Пламя пожирает бумагу. Высвеченные огнем лица кажутся белыми, чужими. Бумага сгорает. По черному комку пепла мечутся красные искры.

– Смотри, Солонька! – Симка сунула противень между единственной в зимовье лампой и стеной.

Тень от пепла упала на беленую стену.

– Видишь, Солонька?

Солонька таращит глаза, но ничего, кроме черной тени, не видит. Пепел, остывая, оседает, меняет свои очертания тень.

– Голова вроде, – шепчет кто-то за плечом Солоньки.

– И верно, голова. Вон нос.

Солонька и сама уже видит голову. И себя ругает: как это она сразу-то не увидела!

– Только на кого он похож? – опять шепчут сзади.

– Видела? – громко говорит Симка. – Нынче жених у тебя будет. Не наш, видно, издалека сватов пришлет.

Солонька, счастливая, похорошела. В глазах девок зависть.

– Теперь кому ворожим?

Пожелали чуть ли не все.

– Может, тебе, Устя?

– Я потом. На кольце.

– Ей чо ворожить? Она свою судьбу знает. Вон у нее Северька.

Когда надоело жечь бумагу, Устя объявила:

– Теперь я ворожить буду. На мамином обручальном кольце. Ой, только боюсь, девоньки.

Ворожба на обручальном кольце непростая. Ворожить можно только в подполье и непременно быть одной и во всем белом. Здесь смелость нужна. Не всяк решится.

Устя быстро сняла юбку, кофту, осталась в одной сорочке. Распустила волосы. И враз стала похожа на колдунью. Открыла тяжелую западную подполья. Темнота глянула снизу страшно и потаенно. По спинам побежали мурашки. Устя побледнела, отпрянула от люка, но потом решительно стала спускаться вниз. В руках трепетала свеча, горячие капли падают на пальцы, обжигают.

Темно, жутко в закрытом подполье. Ворожея поставила на бочку стакан чистой воды, опустила в воду кольцо. Зеркало укрепила так, что в него все дно стакана видно. Оглянулась: нет ли кого за спиной. Теперь в кольцо нужно смотреть. Сидеть долго и тихо.

Наверху тоже тихо. Замерли девки, нельзя разговаривать. Прикрутили пламя в лампе, чтоб сквозь щели туда, в подполье, не светило.

Скрип какой-то. Слышится или чудится?

Светлая вода в стакане. Чистое дно. Колотится сердце. Но вода вроде помутнела. А в кольцо – круг. Дрожит круг, расплывается. В круге точка чернеет. Ближе, ближе. Не точка, а человек. Вот он. Лица не видно. А человек уже верхом на коне. Во весь опор скачет казак.

С грохотом упал со стола ковш. Ойкнули девки, сердце ударило в горло. Теснятся друг к дружке. Как напугались! Неловкая эта Солонька. Оглобля и есть оглобля. Неужто не знает, что ковш на краю стола стоит?

Видение пропало. Сколько ни смотрела Устя в зеркало, только стакан, до краев водой наполненный, и кольцо в нем лежит. Обручальное. Пустое.

После Устиной ворожбы девки узнавали, богат будущий муж или беден. Делается это совсем просто. Нужно только сбегать к бане и сунуть руку в окно, в темноту. Хоть и страшновато, а все ж наперед лучше знать, будет ли достаток в доме. Если коснется руки, там, за темным окном, мохнатым, быть за богатым. А голым – быть за бедным.

Хвастались девки: коснулось мохнатым, явственно так – мохнатым. Забывали только: богатых женихов в поселке мало, на всех не хватит.

За полночь девки вовсю разошлись. Вспоминали все новые и новые возможности заглянуть в судьбу. А когда стряпка Силы Данилыча, Фекла, предложила пойти в телятник хозяина и узнать, кто будет первенец – парнишка или девчонка, – согласились идти все и немедленно.

В темноте телят не углядишь. Но если первый телок, попавшийся под руки, бычок, непременно родиться сыну. Способ проверенный.

В телятник пошли прямо через снежные суметы, напрямик, перелезая через прясла. С визгом, хохотом. Неуклюжая Солонька праздничную юбку порвала.

Сила Данилыч, мучавшийся бессонницей, бродил по двору и еще издали приметил девок. «Куда это их понесло?» Потом хитро улыбнулся и опрометью кинулся в телятник. Там он вывернул полушубок шерстью наружу, накинул его на спину и, согнувшись, стал поближе к двери.

– Чтой-то телята беспокоятся, – шепнула Фекла подругам, появляясь в дверях.

Девки проворно кинулись к телятам.

– Парнишка, – радостно взвизгнули в темноте. Потом голос испуганно ойкнул, закричал по-страшному. Девки, сминая друг друга в дверях, кинулись на улицу. Запинались, раскатывались на свежем навозе. В телятнике кто-то непонятный, утробно давясь, хохотал. «Леший!»

Прыгали через жердник. Хватали открытыми ртами промерзлый воздух. Бежали, не разбирая дороги. Ворвались в зимовье, закрылись на замочку.

Прыгали руки, искали спички.

А на дверь зимовья, с той стороны, с улицы, наваливаются, жадные руки шарят замочку. Ужас шевелит волосы под платками.

– Ма-а-ма! – заревели за дверью голосом Солоньки.

Страхи-то какие, Господи. Заложку не снимали до утра. Домой не шли. Не спали. Боялись.

III

Федька возвращался от Лучки, где засиделся допоздна. За дни Рождества и Святков парень умотался от пьянок, вечеринок, работы по хозяйству и теперь шел медленно. На память пришла Симка. Вспомнились ее просьбы присылать сватов. Симкины просьбы радуют, но он ей сказал, что думать об этом сейчас не время, и своего решения держится твердо. Симка по дуруости ударила в слезы, два дня пыталась не разговаривать.

Федька уже шел по переулку мимо зимовья Темниковых, когда с Круглой сопки, прикрывающей заимку с севера, ударил винтовочный залп.

Парень от неожиданности присел за прясло, потом бегом бросился к своей землянке. Казалось, что пули пролетают где-то близко и не задевают его, Федьку, лишь случайно. У дверей зимовья задержался.

Теперь уже стреляли и с Крестовой, голой каменной сопки, где одиноко стоит крест с давних времен. Поговаривают, что похоронен там предок каких-то князей Гантимуровых.

Короткие злые светлячки появились и на соседней сопке.

Он понял, что заимка окружена. Если и оставался выход, так только через калтус и заросли тальника за Аргунь.

Федька нырнул в зимовье и плотно прикрыл дверь.

– Чего там, братка? – подал из теплой темноты сонный голос Савва.

– Кто-то заимку окружил. Стреляют.

На нарах заворочались, зашептали.

– Мать, не таракти спичками, огонь не зажигай, – сказал Федька, стягивая унты.

Голос старухи дребезжит, волнуется:

– Оно со светом-то бы лучше. В темноте боязно... О, Господи, спаси и помилуй нас, грешных, рабов твоих. Опять стреляют. Кто в кого – один Бог ведает.

– Спит он, твой Бог, и ухом не ведет.

– Сожгут заимку, добогохульствуешь. Узнаешь тогда, почем сотня гребешков.

Не спали. Сидели в темноте. Ждали. Надеялись – пронесет. Когда тишина и ожидание стали тягучими и звонкими, за окнами послышались топот, голоса.

– Идут!

Дверь с шумом раскрылась, ударила о нары, под которыми спали телята.

– Кто здесь? Огня! Да поживей, – проскрипел простуженный голос.

– Чичас, чичас, – Костишна ломала дрожащими руками спички.

Жирник затрепетал желтым огоньком, осветил двух вооруженных людей. От вошедших пахло морозом, дымным костром, конским потом.

– Живет кто здесь? – спросил кто-то удивительно знакомым голосом. И вдруг захохотал. –

Не узнаешь, Федча?

Федоровна зажгла еще один жирник, и в зимовье стало совсем светло.

– Сукин ты сын, Колька! Напужал как. Нет, чтоб по-людски зайти. Все с вывертами.

Федька стоял на полу босой и радостно улыбался.

– Ну, что смотришь, как баран на новые ворота, – веселился Колька Крюков. – Не узнал? Я тебя специально решил напугать.

Оправившаяся после первого испуга Костишна бросилась собирать на стол, но партизаны от угощения отказались.

– Некогда нам, тетка. Как-нибудь в другой раз. Бельишком вы не богаты? Это я мужиков спрашиваю.

Федька, придерживая штаны рукой, открыл старенький сундучишко.

– Чего-нибудь найдется. Вот.

Достал свою новую рубаху, белые подштанники.

– Обносились, что ль? Да ты, Кольша, сюда смотри, в сундук. Может, еще что пригодится?

– Ладно, хватит. У тебя самого не густо. А вот бакарок возьму, – показал Крюков на выгнутый солдатский котелок. – Эта вещь мне нужна.

Ночные гости побыли в зимовье недолго. Федька надернул ичиги, выбежал на улицу провожать. Около сенника остановил Николая.

– Сказывай, чего приезжали? Не чай же пить.

Николай свернул папиросу, прикурил, пряча огонь в широких ладонях.

– Знамо, не чай пить. За семьей Осипа Яковлевича. А то тут замордовали Анну совсем.

– Вроде не трогают. Но следят за ней. Даже теплую одежду отобрали, чтобы не убежала.

– Я и говорю, Вроде приманки держат.

На улице уже не стреляли. Только слышались громкие голоса, ржание лошадей.

– Вот что, – вдруг сказал Федька. – Устя пусть тоже уезжает. После вашего набега непременно заимку начнут шерстить. А Устю уже видели кому не нужно. И не раз.

– Пожалуй, дело говоришь, – Николай вдел ногу в стремя, легко прыгнул в седло. Сухой, горбоносый конь присел на задние ноги, крутнулся на месте. – Дальше не показывайся со мной.

Федька вернулся в зимовье, растирая покрасневшие руки. Там не спали, на все лады перебирали приход ночных гостей. Женщины громко жалели белье.

– Это что за хунхузы были? Штаны и рубаху забрали. Теперь парню перемыться не в чем... И Колька с ними.

– Не хунхузы, а партизаны, мать.

Женщины замолчали, но видно было, что белье им все равно жалко.

У поселка Караульного Аргунь делает крутой изгиб. Громадная голубая подкова вписалась среди степей и сопки. Поселок стоит на самой излучине многоверстовой подковы и строго следит за дорогой к своим заимкам. Чтобы попасть на Шанежную из леса – поселок миновать трудно. А в Караульном сильный гарнизон японцев, стоят белые казаки. Но Смолин для своего набега выбрал другой путь. Сотня на самых выносливых конях рванулась через китайскую территорию и к полночи вышла на Шанежную. Услышав со всех сторон пальбу, казаки, пресовавшие на заимке сено, не оказав никакого сопротивления, разбежались по приаргунским тальникам, попрятались в кочкарнике, заросшем жесткой травой. Разбежались и люди, назначенные следить за семьей Смолина.

С гиканьем и свистом понеслись партизаны по заимке. К своему зимовью Осип подскакал в сопровождении десятка всадников. Спешившись, постучал в заледенелое окошко.

– Анна, открывай.

– Надолго ли? – бросилась женщина на шею мужу. – Изболелась душа вся за тебя. А тут еще покою не дают, житья нет. Одежу теплую отобрали, чтоб не сбежала я. Теперь живьем съедят, как уедешь.

– Не съедят, не съедят. Не бойся. Одевай сына.

Через полчаса Смолинское зимовье опустело. Опустели улицы заимки. Только собаки еще долго не могли успокоиться.

Вылезли из заснеженного кочкарника, из тальника казаки, растирали побелевшие щеки, с испугом посматривали на темные сопки.

Партизаны собрались в ближайшем распадке, проверили, нет ли отставших, и, соблюдая осторожность, двинулись на китайскую территорию. В центре отряда шла кошева, запряженная

парой рослых лошадей, на которой ехали, закутанные в козы дохи, жена Смолина, Анна, и Устя. Трехгодовалый парнишка спал. Осип Яковлевич, склонившись с седла, что-то говорил жене, улыбался.

Чуть не половина партизан ведет заводных коней – награда за набег. Кони добрые, казацкие.

К Смолину подъехал Николай Крюков.

– Осип Яковлевич, тут дядя Андрей говорит, что Нилку Софронова зарубил.

– Правда? – живо обернулся Смолин.

Нил Софронов – справный казак из Приречного. Не раз в составе поселковой дружины ходил на партизан. А недавно выдал партизанских разведчиков, оставшихся ночевать в Приречном. С тех пор лишился Нилка покоя, боялся, что зарежут его прямо в постели, и решил смотаться куда-нибудь подальше, переждать смутное время. Только прошлым вечером приехал он на Шанежную, а тут стрельба, партизаны. Нилка заседлал коня, взял двух заводных и наметом пошел в сторону Караульного.

– Срезал, значит, подлеца? – переспросил Смолин дядю Андрея.

...Багровое солнце медленно выкатилось из-за голых хребтов. Полное безветрие. Дым над печными трубами стоит столбами.

Люди обсуждают ночной набег. Ребятишки разнесли по заимке весть: «За крайним зимовьем, по верхней дороге, лежит убитый».

– Кого убили?

– Где?

– Пострадал, бедолага.

– Зря не тронут.

Бросив домашние дела, шли и бежали за крайнее зимовье, где уже чернел народ. Десятский Проня Мурашев на месте. Как-никак заимочная власть.

– Ближко не подходить! – орал он на толпу. – Нужно честь по чести все сделать. Вот ты и ты – будете понятыми, – указал он на грудь двух мужиков. – Составим акт – и к поселковому атаману с нарочным.

В толпе перешептываются, качают головами. Многим убитый не знаком.

– Это дело бандитов Оськи Смолина. – Проня знал, как нужно говорить. – Зарубили невинного человека. Ведь это всеми уважаемый житель Приречного Нил Софронов.

Вперед выступил Сергей Громов, отец Северьяна, сивобородый крупный старик.

– Прокопий Иванович, я хорошо знал покойника. Непонятно, как это Нилка оказался у нас. Да не на заимке, а в степи. Я думаю, что он сам участвовал в набеге, и его наши стукнули.

– Что ты, Сергей Георгиевич! Думай, что говоришь. Чтоб Софронов да с партизанами вместе! У него с ними особые счета.

– Ну, особые, тогда понятно, – отступил старик в толпу. – Значит, не совсем невинно зарубили. Царствие ему небесное, – и перекрестился.

Толпа зашевелилась. Многим понятны слова старика.

Нилка лежал на животе. Руки раскинуты. Правая – ладонью кверху, изрезанная. Хватался за шашку. Голова без шапки, как бы прислушиваясь, припала ухом к земле. Глубокая рана, теперь уже замерзшая – от левого уха к правому плечу. Шашка перерубила позвоночник.

В толпе переговаривались.

– Мастер рубанул мужика.

– Когда все это кончится?

– Ироды.

– По делам вору и мука.

Расходились группами. Богатые шли с богатыми, косились на тех, что победнее: все они в лес смотрят, волки.

Из тесных зимовьев говорили по-другому:

– Молодец Осип. Не испугался. Нагнал белым холодом. И жену увез у них из-под носа.

Ночью вместе со Смолиным ушли несколько парней. Ушел с партизанами и младший брат Темникова. Мурашев, увидев в толпе Федьку с друзьями, не удержался, сказал:

– А вы здесь еще?

После обеда на заимку нагрянули японцы.

– Ищи ветра в поле, – сказала мать Степанки, Костишна, глядя на солдат, неподвижно сидящих в санях.

– Они думают, что Оська дурак. Станет их здесь ждать.

Переночевав, японцы уехали в Караульный. Зачем приезжали – так и осталось для всех загадкой.

Парни дождались своего часа: завтра Петр Пинигин за сеном поедет в Дальнюю падь. Не зря падь называется Дальняя – далеко. Место глухое, лучше для серьезного разговора не найдешь. Люди там появляются редко; так что без свидетелей встреча будет.

Правда, одно смущало: Пинигина после разговора можно в овражек, в снег сунуть, а сани, лошадей куда денешь? Но Федька знал, что это дело плевое: из Дальней он сразу же за Аргунь махнет, в бакалейки. Там у него есть знакомцы, которые с большой радостью купят и лошадей, и сбрую, и сани. И будут молчать.

Утром Северька и Лучка – каждый на своих санях – выехали за сеном. За последними землянками встретили Федьку.

– Уехал уже, – сообщил он радостно. – Видите след? От самого пинигиновского зимовья идет.

Парни сели в одни сани, Лучкиного коня пустили на короткой привязи.

– Берданку взял?

Северька достал из-под соломы старую берданку, Клацнул затвором.

– Зарядов только мало. Два.

– Хватит. Хватит, Лучка?

Лучка сегодня серьезный какой-то. Не улыбнется.

Санний след уводит все дальше и дальше в сопки.

Где-то там, в конце следа, – человек. И скоро этот след оборвется. Оборвутся не две бороздки, оставленные полозьями саней, а человеческая жизнь. И по этой жизни бежит сейчас Северькин конь, с каждым мгновением отсекая от нее коваными копытами маленькие кусочки.

Разговаривать не хочется. Да и о чем? Все уже обсказано: встретить доносчика, сказать ему, что он подлюга, и убить. Из берданы.

Но Федьке не хочется, чтобы парни молчали. Когда молчишь – всякие думы в голову могут ползть. Непростое это дело – человека застрелить.

– Споем, что ли?

– Холодно.

В Дальнюю приехали, когда был уже белый день. Еще издали около второго зарода увидели темную фигуру. Федька не выдержал, выхватил у Северьки бич, хлестнул коня.

– Это вы чо втроем на двух санях за сеном ездите? – встретил Пинигин парней.

– Поздно собрались.

– Верно, поздно. Я вон уж второй воз уминаю.

Парни замолчали. Пинигин вдруг забеспокоился:

– Это вы как сюда заехали? Вашего сена вроде здесь близко нет.

– Для разговору, дядя Петра, – за всех ответил Федька. – А потом мы тебя прихлопнем.
– Эва! – ухмыльнулся мужик. – Шутники.

– А мы не шутим, – Федька шагнул вперед. – Ты ведь не шутил, когда на Иннокентия доносил.

Вот оно что. Сердцем чуял – не с добром они подъехали сюда. Пинигин оглянулся. За спиной – зарод сена. Рядом стоят равнодушные лошади. Впереди – парни. Не уйти. Затосковала душа.

– Да вы что, белены объелись? Ни на кого я не доносил. Крест на вас есть? – закричал он. И вдруг прыгнул к саням, где, завернутый в тряпицу, лежал топор.

Но Северька поспел раньше. Ударом ноги он свалил Пинигина на мерзлую землю. Тот закрыл голову руками, ожидая новых пинков.

– Вставай!

Пинигин встал, зачем-то отряхнул прилипшее к шубе сено.

– Убивайте.

Северька сходил к своим саням, принес берданку. Сунул ее Лучке.

– Стреляй гада.

Лучка враз стал суше, угловатее лицом. Торопливо схватил бердану. Поднял ее к плечу.

Пинигин застывшими глазами уставился на черный дульный срез. Шарит по груди руками.

Сейчас Лучка нажмет курок, грохнет выстрел, вздрогнет низкое серое небо. Завалится набок ненавистный Пинигин, и отомщенная боль уйдет, исчезнет.

Федька сжал зубы, ждет выстрела.

Северька с виду спокоен, но мысленно торопит Лучку: нажми на курок, скорее.

Глаза у Пинигина безумные. Не видят глаза ни снега, ни людей, ни сопок: все заслонил собою черный винтовочный зрачок.

– А-а-а! – закричал он хрипло.

Дернули головами кони, шарахнулись в оглоблях.

– Не убивайте! – Пинигин повалился на колени.

– Стреляй, Лучка! – Федька повернул голову, зло оскалился. – Не тяни.

Шарит черный ствол по Пинигину. С груди на лоб, со лба на грудь. Мужiku явственно кажется, что ведут стволом прямо по его голому телу.

– Не могу я, – неожиданно для всех сказал Лучка и опустил винтовку.

– Можешь! – озверел Федька. – Стреляй, или я тебя изувечу. Лучка дергал головой.

– Бога молить... Бес попутал... – то бормотал, то выкрикивал Пинигин. – Дети... Сироты... Бога молить...

– Северька, а ты что молчишь?

– Это Лучкино дело. Ему решать. – Северька делано спокоен, стоит прямо.

Неожиданно поднялся ветер. Сыпанул колючим снегом, взворошил сено, закосматил лошадиные гривы и хвосты.

В глазах Пинигина злобная мука и надежда.

– Отпустите его, ребята, – Лучка смотрит в землю, кривит лицо. – Пусть уезжает.

– Не выйдет! – Федька схватил доносчика за воротник полушубка, приподнял, ударил кулаком в лицо. Мужик запрокинулся, пытался подняться, но Федька, распаяясь, стал бить его ногами. Удары были глухие, плотные.

– Убью! – Федька прыгнул, выхватил винтовку у Лучки, дернул затвор. – Молись, сука!

Каменным обвалом грохнул выстрел. Но Лучка успел подтолкнуть винтовку, пуля ушла выше зарода.

Федька обмяк, бросил винтовку, медленно пошел к саням.

– Пропадешь ты так, Лучка. Плохо тебе будет жить на этом свете.

Северька поднял винтовку, подошел к Пинигину, все еще лежавшему на земле, тронул его ногой.

– Вставай, язва, и мотай отсюда. Да языком не трепли. Достанем тебя везде.

Пинигин боязливо оглянулся на Лучку – только что в руках этого парня была его жизнь, да и сейчас, скажи он слово, и не уйти ему, быстро поднялся, схватился за вожжи, тронул коня. Второй воз сена был неполный, не придавленный бастриком; сено большими клоками падало на снег. Но Пинигин торопился. И не было в его душе благодарности к Лучке, избавившему его от верной смерти.

Парни стояли молча и не глядели друг на друга.

Богатый казак Илья Каверзин ждал рождения внука. Сын Андрей служил в милиции у Тропина, бывал на Шанежной редкими наездами, и все заботы о Марине, невестке, легли на плечи будущих деда и бабки.

Илья сыном гордился. Высокий, красивый мужчина. Русоволосый, широкоплечий, в отца. И на службе его ценят.

Правда, ползли слухи, что молодой Каверзин – зверюга добрая. Вместе со своим начальником, пьяные, вывели за огороды Кеху Губина и разрядили в него по револьверу.

Илья хоть и считал, что с безбожниками, с красными бунтовщиками, церемониться нечего, но зверства не одобрял, наветам на сына не верил. Смущало одно: голова Кехи разбита не одним-двумя выстрелами. Будто молотили по голове цепом.

Старик понимал, что беременную женщину сохранить не так-то просто. Сглазить, испортить могут. Такие случаи бывали.

Ольга Евсеевна, жена Ильи, больше всего боялась вещицы. Этой нечистой силе ничего не стоит вынуть ребенка из чрева матери, да так ловко, что та и ничего не услышит. А сколько она попортила жеребят, телят. Каверзины приняли все меры предосторожности. В зимовье жгли богородскую траву, свет не гасили до первых петухов. Невестку не показывали даже соседям. На большой живот Марины надели расставленный ошкур от подштанников мужа: от сглазу спасает.

Заранее обдумали, кого позвать к роженице в свое время. Бурятского ламу отвергли сразу. Тот хоть и имеет большую силу, а нехристь. Фельдшера Кузьменко из поселка отверг сам Илья: Андрюха говорил, что Кузьменко к партизанам шибко хорошо относится. Решили, что лучше Федоровны по этому делу здесь, на Шанежной, никого нет. Бабничать она мастерица. Только на заимке ее внуков человек двадцать наберется.

Ольга Евсеевна к Стрельниковым пошла сама, такое дело работнице не доверила.

– Я к тебе, Анна Федоровна. Дело у меня.

Федоровна уже знает, зачем пришла гостя.

– Проходи, Евсеевна. Как здоровье?

Каверзина садится к столу, на лавку, вытирает рот концом платка.

– Болела, голубушка, думала, помру, да Господь не дал, оклемалась.

Хозяйка ставит на стол тарелку серых шанег.

– Не обессудь. Чайку попьем. А ты, Степанка, – кивнула она младшему сыну, – иди погуляй. К Шурке сходи. Чего тебе со старухами сидеть.

Евсеевна вытягивает губы трубочкой, шумно пьет горячий чай, рассказывает свое:

– Левое ухо болело – мочи нет. Грела и все делала. А потом Марина свечку из церкви зажгла, через огонь в ухо подула. Сняло.

Федоровна согласно кивает головой.

– Помогает. Помогает.

– Внука жду. Не откажи, ради Христа – приди, когда настанет время.

Федоровна для приличия отказываться стала.

– Помочь людям – Бог велит. Может, Андрюха фельдшера лучше бы позвал? Человек ученый, грамотный. Не нам чета.

Евсеевна замахала руками.

– Что ты! Нельзя. Андрюха не хочет его. Говорит, проси Федоровну. Платой не обидим.

– Мое хоть и вдовье дело, за платой не гонюсь.

Старая Каверзина ушла довольная, унося строгий наказ беречь невестку, особенно от дурного глаза.

У Стрельниковых гость. На короткую побывку приехал старший брат Федьки, Александр, урядник девятого казачьего полка. Саха – казак бравый. Гордо носит заливчатый русский чуб, щегольские усы.

Федька проснулся, когда за маленьким окном занимался день. Жадно выпил ковш холодной, со льдом, воды. Потирая голову, силился вспомнить вчерашние разговоры.

Сквозь зыбкую пелену помнилось: гость сидит за столом, вольно расстегнув ворот, весело шутит, много пьет. Степанка с восхищением смотрит на братана, ловит каждое его слово.

Потом между Федькой и Сахой крутой разговор вышел. Но Костишна их утихомирила. О чем ругались – трудно сейчас вспомнить.

Федька оделся, посмотрел на спящего брата, поманил Степанку за дверь.

– Пойдем сена животине дадим. Сахиного коня накормим.

Степанка собрался быстро. Надел стоптанные ичиги, шею замотал материной шалью, нахлобучил до самых глаз шапку.

Кони встретили их радостным ржанием.

Взяв широкие деревянные вилы, Федька пошел в сенник.

– Чего это мы вчера с Сахой шумели, не помнишь?

– Помню, – обрадовался Степанка. – Ты пьяный был да и давай к нему приставать, что он японцам служит. Материл его.

– А он?

– А он тоже матерился. Тебя краснозадим называл. Хотел тебе морду набить.

– За что это?

– А ты велел ему к партизанам убегать... Ниче, помириться, – Степанка пнул мерзлый кругляк конского навоза, вытер нос мохнатой рукавицей.

– Не помиримся, братка. Вот жизнь что делает, – Федька стал серьезным. – Этого разговора у нас с тобой не было. Запомни.

Степанке грустно, что такие хорошие братаны, которыми он гордился, не будут мириться.

– Ты, Федя, сегодня на него не налетай, он ведь гость.

– Не буду, – обещал Федька.

Весь день Федька был дома. Просушил седло брата, вытряс потники, попону. Любовно вычистил винтовку и шашку.

Александр воспринял все это как раскаяние за вчерашние необдуманные слова.

– Я бы сам все это сделал, – говорил он брату, – но коли охота, так уважь.

Только за обедом Федька спросил:

– Чего ты взъелся вечером на меня? Я плохо помню, что говорил.

– Под чужую дудку поешь, вот и отругал я тебя.

– Да нет, брат, – примирительно сказал Федька, – я просто думаю, почему, кто победнее живет, в партизанах ходит. Справные – у Семенова. А мы разве справные?!

– Нет, – жестко ответил Александр, – красные – зараза. Заразу надо уничтожать. Я тебе как старший брат говорю.

В самые клящие крещенские морозы, когда замерзали на лету воробьи и даже вороны, заимка обрадованно загудела: на Аргуни пошла рыба. Об этом сообщил дежуривший на реке в прошлую ночь Северька Громов. Рыбу ждали давно, и народ валом двинулся на лед Аргуни.

Еще загодя реку перегородили решетками – бердами, сплетенными из тальника. Рубить лед, вбивать в дно реки колья, устанавливая берды выходили чуть ли не все мужики заимки. Делали громадную круглую прорубь, над прорубью ставили юрту. День и ночь дежурили, следили, не пойдет ли рыба. На берегу всегда горел костер, стояли запряженные лошади. И вот рыба пошла. Руководят работой на реке старый Громов и Илья Каверзин. Первыми к проруби встали Проня Мурашев и Савва Стрельников. Сверху через круглый срез юрты падает свет, хорошо высвечивает дно. А внизу, вдоль берд, косяком идет рыба, тычется в тальниковую перегородку. Проня и Савва без усталости колют острогами рыбу, выбрасывают ее на лед. Мороз крепкий, прорубь быстро затягивает туманной корочкой: работы хватает всем.

Так продолжается два-три дня, пока мороз не ослабнет и не прекратится ход рыбы.

Улов делили на паи здесь же у реки.

Федоровна слышала, как у ее зимовья замер лошадиный топот и морозный скрип полозьев. Как угорелая, в дверь ворвалась Финка, молодая работница Каверзиных.

– Бабушка Анна, скорей! – с порога закричала она.

– Я сейчас, – заспешила Федоровна. – Дверь закрой, выступишь все тепло, шалая. Сейчас вот, соберусь.

Финка на месте не стоит, приплясывает от возбуждения. Хлопает кнутовищем по валенку.

– Как она? – спросила Федоровна, уже усаживаясь в кошеву.

– Н-но! – тронула вожжи Финка. – Кричит. Страшно так!

В зимовье Каверзиных вся власть перешла к Федоровне.

– Дверь на заложку. Лампаду надобно зажечь перед образами. Все хорошо будет, Христос с нами.

Федоровна заправила волосы под косынку, вымыла руки горячей водой, неустанно повторяет божественно:

– Господи, помилуй, спаси рабу Твою Марину, помоги ей счастливо разрешиться от бремени.

Время шло. Федоровна все там, за ситцевой занавеской, у Марины. Евсеевна стоит на коленях, молится. Молится устало, давно. Детский крик, как кнутом, подстегнул, Евсеевна гулко об пол лбом.

Слава Те, господи. Услышал наши молитвы.

На Аргуни продолжали колоть рыбу. Уже и Федька и Северька успели отстоять свою очередь с острогами не по одному разу, а рыба все шла. На торосистый лед острогами выбрасывали сытых тайменей, крупночешуйчатых, широких, как лопаты, сазанов. Уже выросла немалая гора мороженой рыбы.

Вторые сутки Илья Каверзин не уходил от реки. Думал: «Как там Марина?» А сходить домой – времени не было. Еще издали увидел, что кто-то скачет сюда, к реке, на его Рыжке.

Финка круто осадил коня.

– С внуком тебя, дядя Илья.

Илья победно оглянулся вокруг. Потом словно спохватился, повернулся лицом к желтому пятну солнца, проступившему сквозь туман, снял шапку, трижды перекрестился.

– Слава богу. Продолжен род Каверзиных, – и крикнул: – Сергей Георгиевич, дома мне надо быть. Смотри тут один!

– Что у тебя случилось? – подошел в обледенелом полушубке Проня Мурашев.

– Счастье у меня, Проня. Внук родился. Я поеду, а ты мой пай привезешь.
Илья бросил солидного таймешка в кошевку и упал рядом с Финкой.

Назавтра у Каверзиных гуляли. Гости пришли солидные: Проня с женой, Сила Данилыч. Из Караульного прискакал Андрей, привез есаула Букина, обрадовав отца. Ко времени подошел и поп, сиречь отец Михаил, завернувший на Шанежную крестить ребятишек, народившихся за осень и зиму.

Илья вина не пожалел. С рождением внука отмякло сердце старика. Гости тоже – не заставляли себя принуждать. Пили за здоровье внука, пили за деда, за отца, за Марину. Через час говорить уже хотелось всем.

– Жизнь идет, – философствовал Проня. – Одних убивают, другие умирают, третьи нарождаются.

– Так Господу угодно, – вторил ему отец Михаил.

Сила Данилыч гнул свое:

– Вот ты, господин есаул, и ты, Андрюха, стоите у власти, так растолкуйте мне, когда эта проклятая война кончится. А то живи и бойся. Неужто партизаны так сильны?

Лицо у Силы глуповатое, тон простецкий, но Илья-то знает, что за человек Сила Данилыч. Он и хозяин крепкий. И грамотей. Газеты читает.

Букин сидит красный, китель расстегнул.

– Надо полагать, что к лету все будет кончено. Партизаны в тайге сидят, боятся нос высунуть. Налет на заимку не в счет. В тайге они голодают. Последних коней доедают. Правда, – это, господа, по секрету, – из России идет большевистская армия. Но здесь она неминуемо столкнется с японцами. И тогда посмотрите, кто сильнее: мужики или императорское войско.

– А потом ведь японцев отсюда не выгонишь, – пугается Сила Данилыч.

– Это другой вопрос и дело будущего, – резко говорит есаул. – Наша основная задача – выжечь красную заразу. Партизан надо искать не только в тайге, но и в поселке, и на заимках.

Сила Данилыч не унимается:

– Нет у нас на Шанежной партизан.

– Ох, Сила, – Илья грозит коричневым пальцем, – приножишься ты, узнаешь, куда ветер дует. Ты ведь против ветра не погрешь.

– Гы-ы! – смеется Сила. – Против сильного ветра даже мочиться не резон.

Андрей томится, что ему не дают говорить, и, уловив паузу, объявляет:

– Есть на Шанежной партизаны.

Все поворачиваются к младшему Каверзину.

Андрей рад вниманию, и ему еще больше хочется удивить всех.

– У меня тут запопутьем еще одно дело. Сегодня ночью или завтра утром возьмем Северьяна Громова, Федьку Стрельникова и их дружка Лучку.

– Как возьмем? – не понимает Сила.

– Арестуем. Сегодня подъедут трое наших, и мы их тихонько, по одному возьмем.

– Ладно ли? – спрашивает Проня. – Мерзавцы-то они мерзавцы, но они не воюют.

– Мы о них больше знаем.

Андрей стукнул ладонью по столу. Потом словно спохватился, осторожными шагами прошел за занавеску, к Марине. Жена спала, Рядом на табуретке, прислонившись к кровати, спала уставшая от бессменного дежурства Федоровна.

– Бабушка, – потряс ее за плечо Андрей. – Пойдем с нами за стол. Слышишь, бабушка.

Зевая и крестя рот, Федоровна медленно встала.

– стаканчик вина выпьешь?

Не дожидаясь ответа, Андрей подхватил повитуху, потащил к гостям.

На молодую бабку хозяева смотрят с лаской: ребятенка приняла, Марина не болеет.

Наполнили рюмки. Выпили. Но Федоровне не идет водка, комом в горле стоит: ишь, задумали, ироды, крестника заарестовать! И заарестуют – у них власть. А Федька и не знает, сном-духом не ведает, какая беда собирается над его дурной башкой.

За окном послышался лошадиный топот.

– Кого-то черти несут.

Федоровна осуждающе нахмурила брови, закрестилась, зашептала губами.

Андрюха понял, пьяно закрыл рот ладонью, подмигнул.

– Не буду, бабушка. Сорвалось про чертей.

Дверь открылась, вошли вооруженные милиционеры, вытянулись перед начальством.

Выслушав рапорт, Андрей хотел было поднести вошедшим по стаканчику, но, совершенно счастливый, старик Каверзин перегнулся через стол и шепотом попросил у есаула разрешения пригласить милиционеров за стол.

– Вы хозяин, – развел руками Букин.

Милиционеры смущенно сбросили полушубки, бочком подсели к столу. Но, оглушенные большими стаканами водки, легко побороли скованность, жадно набросились на еду.

У повитухи сердце болит: «Вот они, супостаты, уже приехали за крестником. Морды красные. Отъели на казенных харчах».

Делать что-то надо. Делать...

Красные морды у милиционеров. С морозу, от водки. Крепко движутся челюсти.

Федоровна посидела немного, вышла из-за стола.

– Жарко как сразу стало... Пойду охолонусь. В голову вино бросилось.

Надела на себя чей-то полушубок, набросила шаль. Вышла на улицу, оглянулась, заспешила домой. На счастье, крестника увидела на улице.

– Федя, иди-ко сюда.

– Крестная? – заулыбался тот. – Тебя и не узнаешь. А я думаю, что за девка идет?

Анна Федоровна зашептала скороговоркой:

– У Каверзиных бабничаю. Так сейчас пьяный Андрюшка болтал, что вас троих сегодня ночью или утром заберут – и к ногтю.

– Кого троих?

– Известно кого: Лучку, Северьку и тебя.

– Не путаешь, крестная? Верно говоришь? – насторожился Федька. От его веселости не осталось и следа. Глаза сузились, резче обозначились скулы.

– Христос с тобой, Федя. Рази я пьяная? Бегите куда-нибудь. Убьют они вас.

– Спасибо, крестная. И до свиданья. Не бойся. С нами ничего не случится.

Анна Федоровна пошла обратно, а Федька отправился к Северьке. Рыжий его чуб воинственно торчал из-под папахи.

На возвращение Федоровны в зимовье Каверзиных никто не обратил внимания. Сила Данилыч сидел уже рядом с Букиным и длинно рассказывал о том, как он участвовал в боях против турок. Потом объявил, что завтра же уедет в Турцию: надоела неразбериха.

– На кого ребятишек оставишь? – икал ему через стол Проня.

– Хозяйство ладное. Оставлю жене. Пусть растит. А я уеду.

Илья на такие разговоры внимания не обращал. Знал, что пьяный Сила всегда собирается в Турцию.

Отец Михаил с преувеличенным усердием выбирал из бороды капусту. На впалой его груди висел большой крест с распятым Христом. Поп ни с кем не разговаривал, только тихо повторял одно слово: «Христопродавцы».

Евсеевна в кути угощала Федоровну чаем, настоящим на листьях дикой яблони. Женщины изредка поглядывали на мужиков и качали головами.

Лицо Федьки в красных пятнах, под кожей, как маленькие мыши, перекатываются желваки. Северька редко видел друга таким.

Старый Громов, увидев, что при нем не начинают какого-то важного разговора, обидчиво повернулся спиной, ушел во двор.

– Что-то стряслось? – спросил Северька, когда за отцом закрылась дверь. Федька выпалил одним духом:

– Сегодня ночью или завтра утром нас должны арестовать.

По пути к Громовым Федор зашел за Лучкой, но ничего дорогой ему не рассказывал, и теперь Лучка сидел, напряженно вытянув шею, настороженно прищурился, и еще больше походил на поджарую хищную птицу.

– Кто тебе сказал? – усомнился Северька. – Сорока на хвосте принесла?

Федька обстоятельно рассказал о разговоре с крестной матерью, добавив, что нужно сегодня же бежать.

– Три милиционера уже приехали. Ходили к Каверзиным. Андрей у них за старшего. Не знаю, о чем они договорились. Андрей сегодня в стельку пьян.

– Если дадимся им – хорошего ждать нечего. Скорее всего пошлют караулить шипишку к Лучкиному отцу.

Парни замолчали. Думали.

Старый Громов, вернувшийся в землянку, увидел серьезные лица друзей, вопросительно посмотрел на сына.

– К партизанам сегодня бежим, отец. Милиционеры приехали за нами.

Сергей Георгиевич не удивился.

– Бежать – дело непростое. Кони вам нужны добрые. Оружие.

– Знаем, надо. Об этом и думаем. Шашку свою отдашь?

Вместо ответа старик вышел за дверь. Вернулся, обсыпанный сеной трухой. В руках длинный, обмотанный тряпками сверток. Развернул.

– Винтовка, – ахнули парни. – Японская!

Молча из кармана полущубка достал подсумок. Из подсумка желто глянули патроны.

– Возьми. И шашку возьми.

– Коня у нас доброго нет. Серко хромает, обезножил.

Отец запустил пальцы в густую бороду.

– Для казака хорошего коня украсть – не грех. Без коня казак – не человек.

К полночи Северька отправился во двор Силы Данилыча. Шел вдоль заплотов, прячась в тени. Оглянувшись, – нет ли кого в улице – перемахнул через жердяную изгородь, к лошадям. Белолобого, гривастого жеребца поймал без труда. Прошлый сенокос работал Северька по найму у Силы и хорошо изучил норы Лыски.

Мимо проскрипели размеренные шаги. Северька припал к коню, спрятался за его широкой грудью, готовый на все. Конокрада не пощадят. Рука сама ползет за голенище унта, где с сегодняшнего вечера лежит у парня отливающий синью тесачок.

Шаги затихли. Северька вздохнул и вытер пот со лба.

В заимке Стрельниковых все спят. Лишь Федька сидит впотьмах, изредка зажигает спички, и тогда видно его сосредоточенное лицо. Тихонько мурлычет:

Счастлив, кто дома остается,
Живет помещиком в дому.

– Чо полуношничает? – подает голос мать.

– Не спится.

– Мотри. Завтра рано тебе вставать.

Богатырски храпит Саха. Под столом мышь хрустит завалившимся сухарем. На печке кот потягивается, мучается: неохота прыгать на холодный пол, мышь гонять, а надо бы. Через окно месяц светит – на полу неровное, угловатое пятно.

Не умеет, не любит Федька много думать. Да и думать особенно нечего: бежать надо, не то пулю схлопочешь за так, за здорово живешь.

И вот сейчас он, Федька, шагнет за порог. В другую жизнь. Еще свободную от привычек и чистую от грехов. Там – старые, заимочные грехи – не в счет.

Федька вздохнул и снял со стены Сахину трехлинейку.

Федька вышел во двор. Степанка, почуяв неладное, соскользнул с печки, в унтах на босу ногу выскочил следом.

Конь Александра стоял под седлом. Рядом Федька. За его спиной видна винтовка. На боку – шашка.

– Ты куда, братка?

– К партизанам.

Степанка мучительно раздумывал. «Как же так? Братка Александр говорит, партизан надо уничтожать, а братка Федя взял у него винтовку, коня и к партизанам бежит».

– Замерзнешь, Федя. Возьми доху!

Не дожидаясь ответа, Степанка кинулся в балаган. Вернулся с косматой дохой и двумя большими калачами.

– Вот. Поешь дорогой.

Федька вывел коня из ограды в поводу, без лишнего шума. Только на дороге он прыгнул в седло, махнул рукой.

– Прощай!

Степанка не замечал мороза, не замечал ярких звезд. В одной рубашке он стоял у тына и смотрел вслед всаднику.

Собрались у Северьки. Лучка приехал на коне постояльца-казака, захватив у него винтовку. Привел Пегашку.

– Не мог я его оставить, – объяснил он друзьям, похлопывая конька по крупу.

К Федьке вернулась обычная его веселость.

– У меня полная сума харчей. И спирту два банчка прихватил. Может, согреемся на дорогу?

– Мне можно, а вам нельзя, – старый Громов сказал это строго, и парни не могли его послушаться. – У вас дорога дальняя, нелегкая. Осторожней будьте.

Федька извлек откуда-то стакан, достал из сумы банчок, налил полный стакан.

– Ну, с Богом! – старик плеснул спирт под усы, крякнул, понюхал кулак.

Парни уехали. Но Громов не спешил в пустую землянку. Он стоял и вслушивался в ночь. Заимка спала. По расчетам, сын с товарищами теперь уже в степи. Старик посмотрел в сторону, где, невидимые отсюда, стояли зимовья Каверзина и Прони Мурашева, сложил натруженные пальцы в громадную фигу, ткнул в темноту.

– Натек-ка, выкусите. Чтоб таких орлов да в силки...

Но парни не спешили покинуть заимку. Вооруженные, на хороших конях, они смело ехали пустынными переулками.

– Ускачем. А чуть чего, и шарахнуть из винтовок можем, – подбадривал дружков Федька.

Около землянки Прони Мурашева Федька с Северькой спешили, отдали поводья Лучке.

– Смотри в оба.

Лучка снял винтовку из-за плеча, клацнул затвором, положил ее на колени, поперек седла. Спешившиеся сбросили тяжелые дохи, перемахнули через плетень. В руках у Северьки уздечка. Второй раз за сегодняшнюю ночь пошел парень красть коня. Федька – к дверям зем-

лянки, сыромятным ремнем дверную скобу к палке привязывать. Проснутся хозяева – не скоро выберутся во двор. У Мурашевых на постое казак, из тех, что прессуют сено. Конь его – вон у изгороди стоит. Остальные кони, людей почуяв, сбились в кучу, но чужака к себе не подпускают. Да тот и не идет к ним: злые хозяйские кони, друг за дружку горой стоят, крепкие у них копыта, кованые.

Лает собака, бросается к ногам, но двери уже крепко привязаны, Северька уздечку уже надел на оскаленную морду лошади. Собаки успокоились быстро: чужую животину увели, не хозяйскую.

Теперь к Ванте Длинному.

Давно поселились купцы Вантя Длинный и его брат Сентя на том берегу Аргуни, против Шанежной. Старики помнят, как лепили братья своими руками фанзу, поднимали огород, помаленьку начали торговлишку. Были в их лавке соль да спички, плохонькие ситчики, синяя далемба. Купцы целыми днями копались на огороде и, лишь увидев, как переправляется кто-то на лодке с левобережья, вытирали руки о штаны, и улыбкой встречали покупателей.

Улыбаться Вантя и Сентя не разучились и сейчас, но уже много лет не сидели на корточках, пропалывая грядки; носили черные, блестящего шелка халаты, нельзя в таких дорогих халатах работать на огороде. Построили новую фанзу, просторную. Вокруг – сараи, кладовые, погреба. Все теперь можно купить у братьев. Все теперь покупали братья: птицу, коров, лошадей, тарбагань шкуры. Принимали золото.

Парни перешли Аргунь. Кони оказались кованными хорошо, на льду не скользили.

Федька постучал черенком нагайки в низкое окно фанзы.

– Кто там? Чего надо? – глухо донеслось через рамы.

– Гостей принимай! – крикнул Федька, узнав Вантин голос.

– А, Федя, Федя, – закивал купец, открыв ворота. – Ходи ограда. Ходи в тепло.

Было уже за полночь, но Вантя не удивился людям.

– Ходи в тепло.

Сговорились быстро. Казачьего коня, уведенного из мурашевской ограды, Вантя брал с удовольствием.

– Только конек-то того, – Федька подмигнул китайцу, – не наш конек. Приблудный.

Купец словно не слышал, продолжал улыбаться, говорил приветливо:

– Чего нада, Федя? Чего купишь? Спирта нада?

– Надо, – ухмыльнулся Федька. – Только после. Патроны нужны.

Вантя поскучнел, погладил узкую руку.

– Нету патрона.

Поскучнел и Федька.

– Тогда не продам коня. Поеду к Ванте Короткому. Хреновый ты купец.

Вантя Длинный изобразил на лице скорбь.

– Зачем так говорить? Вантя Короткий – плохой люди. А тебе патрона будет.

– Сейчас нужны.

– Будет, будет, – закивал купец.

Северька и Лучка, молча сидевшие в углу, оживились.

Патроны у Ванти нашлись не только к русской трехлинейке, но и к японской пятизарядной «Арисака», которую держал между колен Северька.

– Молодец, Вантя, – похвалил купца Федька. – Только больно ты хитрый, как тарбаган.

Когда вышли из теплой фанзы, проданного коня во дворе уже не было. Китаец провожал за ворота.

– Вантя Короткий – плохой люди, – сказал он на прощанье и поклонился.

Рассвет застал парней в тридцати верстах от заимки, уже за Караульным.

– Хитрый купчишка, – вспоминал Северька. – «Нету патрона», – передразнил он Вантин говор.

– Все у этого хунхуза есть. Заплати ему хорошо, так он хоть пушку тебе достанет, – Федька трет рукавицей лицо.

– Не найдут у купца коня?

– Ищи-свищи. Пока мы в фанзе сидели, его уже далеко угнали. Помнишь, Вантя выходил и за стенкой по-своему бормотал? Работника будил. Знаю я этого ночного работничка.

Зима стояла малоснежная. Мороз рвал голую землю. Лошади, всхрапывая, осторожно перешагивали глубокие щели-ловушки. Красное солнце освещало стылую, без единого дерева приаргунскую степь. Лишь далеко, у самого горизонта, темная полоска – лес.

Ехали не спеша, то шагом, то рысью – коней берегли. Когда впереди заметили сани и решили их догнать, перешли на галоп.

Из саней поднялся чуть побледневший Алеха Крюков.

– Стервецы, мать вашу, – закричал Алеха, признав парней. – Людей пугаете!

– Не сердись, дядя Алексей, – Северька пересел в сани. – Сам понимаешь, знать нам надо было, кто едет.

– В лес, значит?

– В лес. Больше нам некуда. Вчера арестовать нас Андрюха Каверзин приезжал.

– Дела как в поселке? – Федька свесился с седла. – Японцы не скучают?

– Говорить мне про них муторно. Все партизан ищут. В лес, значит... Кони чьи под вами? У тебя, Северька, жеребец-то вроде Силы Данилыча.

– Его, – ответил за друга Федька.

– Добрый конь.

– Упросили взять. Мы уж отказывались-отказывались, а Сила привязался: возьмите моего Лыску.

– Повесят тебя когда-нибудь, Федька.

Рыжий заметил, как завистливо щурятся глаза Крюкова, разглядывавшего тонконового жеребца.

– Ты бы, однако, дядя Алексей, сам не прочь спереть эдакого коня.

– В лес, значит... – Алеха ушел от ответа. – А третьего дня туда убежали Филя Зарубин, Венька Мансветов, Васька Кукин. Ну, ладно, привет там передавайте, если кого знакомых встретите.

– Да уж встретим, наверное.

Вскоре Алеха свернул с дороги в узкий распадок, где у него еще оставалось сено. Парни тоже свернули: решили пробираться в лес напрямиком, через сопки.

Сила Данилыч тяжело ввалился в мурашевское зимовье.

– Проня, у меня жеребца сперли.

Сила был зол, тяжело дышал и не сразу заметил понуро сидящих на лавке Александра Стрельникова и Андрюху Каверзина.

– Эта рыжая стерва не пожалела не только тебя, но и брата, – кивнул Проня на урядника. – Винтовку, шашку и коня выкрал. Под суд подвел.

– Кто подвел?

– Известно кто. Рыжий Федька с дружками. И у моего постояльца коня увели.

– И как они пронюхали, что их арестовывать приехали, ума не приложу, – сокрушался Андрюха. – Встретит меня сегодня Тропин.

Узнав, что обокрали не только его, Сила быстро успокоился.

– Погоню бесполезно организовывать. Моего Лыску не догнать, – сказал он хвастливо. – Может, похмелимся, а то голова болит.

Но Силу не поддержали.

– Тебе убыток небольшой, а нам каково! – подал голос постоялец Мурашевых и кивнул на обвиснувшего плечами Саху.

Тяжело думал урядник. «Погостил! Что делается на этом свете? С ума народ сошел. Колесом, под гору. В тартарары. В Библии сказано: поднимется брат на брата. Гадина рыжая».

За окном белый снег метет. Холодно во дворе, в зимовье – дышать тяжело, угарно. В груди у Сахи комок вязкий, жмет сердце.

Утром Федоровна домой пришла, принесла завязанные в фартук подарки. Степанка один сидел. Увидев мать, соскочил с нар, подергивая спадавшие штаны, размазывая по щекам слезы.

– Чего, Степанушка, нюни распустил? Скоро женить тебя будем. А девки слезливых не любят.

– Чо девки? Милиционеры тут приходили, матерились, Федьку искали.

Мать опустила на лавку, к столу, щеку рукой подперла, сказала буднично:

– Приходили уже?

– Братка в партизаны убежал. Коня и винтовку у братки Саши украл и убежал.

– Ты откуда знаешь? – охнула Федоровна. – У Сахи, значит, украл. Где Саха сейчас?

– К десятскому пошел. Долаживаться.

Каверзины на подарки не поскупились. Одних леденцов отвалили пятифунтовую банку. Степанка еще никогда не видел такой горы конфет, счастливо заулыбался.

– Ты, мама, еще пойдешь к Каверзиным?

– Зачем это?

– Пойдешь, так они, может, еще монпасеек дадут.

Мать невесело засмеялась.

– Ладно, и этих хватит. Жадный какой. А про Федьку помалкивай.

– Не маленький, – согласно кивнул Степанка.

Он запустил тонкую, покрытую цыпками руку в расписную банку, горсть конфет сунул в карман.

Федоровна встала, прижалась спиной к печке, закрыла глаза.

– Я к Шурке пойду. А ты чо, заболела?

– Отвяжись от меня, репей. Не заболела... Иди, коль надо.

Степанка толкнул дверь, пулей вылетел на улицу: как бы мать не передумала.

В доме у Ямщиковых пахло кожей, потниками.

– Здорово, коли не шутишь, – отозвался на приветствие старший Шуркин брат, Васька, починавший у окна хомут. – Замерз? Лезь на нары. Твой-то дружок, пока ходил за аргалом, чуть не ознобился, на нарах сидит.

– Не ври! – обидчиво крикнул Шурка. – Ты сам ознобился, когда пьяный был. Тятка хотел тебе порку задать.

– Смотри у меня, – погрозил Васька. – Кошка скребет на свой хребет, – другим тоном спросил: – Убежал, значит, твой братан? Степанка, слышишь, тебе говорю. К партизанам, видно, а?

Шурка толкнул друга в бок.

– Не знаю, – Степанка свесил голову с нар. – Ты тоже хочешь убежать?

– Не выдумывай, – Васька испуганно оглянулся, не слушает ли кто. Поковырившись шилом, отложил в сторону хомут, потянулся, хрустнул плечами. Вышел во двор.

На нарах ребяташки шептались.

– Мужиков много в партизаны убежало... Как будет, думаешь, когда белых разобьют?

– Тогда чай станут продавать, – Степанка хмурит лоб. – В школу будем ходить, новые книжки каждому раздадут.

– Девчонкам книг не дадут. Мой тятка говорит: бабья грамота да кобылья иноходь – едино.

– Не дадут, – соглашается Степанка.

Вернулся Васька, гулко хлопнул дверью.

– Андрюху Каверзина видел. На коне проскакал. Злой. Поймает Федьку – живым не выпустит.

– Ну да! – закричал Степанка. – Так-то он ему дался. У него, знаешь, какая винтовка? Да шашка – волос режет. Он твоему Андрюхе р-раз – и голову снесет.

– Эх, какая у вас порода, – Васька покрутил головой.

– Не слушай ты его, – дышал на ухо Степанке Шурка. – По теплу давай сами к партизанам убежим. Коней нам там дадут.

Хороший Шурка друг, настоящий.

Трудная это была зима, смутная. Где-то шли бои; большевики, идущие из России, теснили Семенова. В поселках стояли японцы. Из лесов набегали партизаны.

В лавках не было керосина и спичек. Стаканы делали из бутылок. Обрезали горлышко у бутылки – вот и стакан. Большой стакан. Мануфактура – только у китайцев. На той стороне. У купцов.

Хлеб пекли из ржаной муки. Караулы – пограничные поселения – хлеба почти не сеяли. Покупали хлеб далеко: за сто – сто пятьдесят верст. В даль такую ехать в это время непросто. Ой, непросто.

А за рекой купцы сидят. Толстые купцы, в шелковых халатах. Все у них есть.

IV

Въезжали в лес настороженно. Со всех сторон – близко совсем подступали заснеженные деревья. Это не степь. Здесь не заметишь и в десяти шагах притаившегося человека, не прищоришь коня, не умчишься от опасности. Одна радость: и тебя не видно.

Чужой лес. За всю свою жизнь парни только несколько раз были в лесу – ездили рубить дрова. Но тогда здесь было мирно и тихо. Тихо и сейчас, да что толку в этой тишине?

В степи снегу нет, потрескалась земля. А здесь как будто специально кто навалил снегу. В стороне от дороги – коню чуть не до брюха. Нетронутый снег лежит на еловых лапах. Согнись под веткой: не задень. Не доглядишь – свалится на голову, на плечи рассыпчатый ком, просочится за ворот ледяной потек, заберет у зябкой спины остатки тепла.

День медленно клонился к вечеру. Парни устали качаться в седлах. Пора бы уже думать о ночлеге, но кругом только лес да снег. А партизан не слышно и не видно.

– Видно, у костра заночевать придется? – даже Федьку этот чужой лес сделал серьезным.

– Придется, видно, – согласился Северька.

Оставаться на ночлег в снегу – а это значит не спать – не хотелось. Холодно. Брови и ресницы в белом пушистом куржаке. То и дело приходится оставлять седло и идти пешком, не то закочнешеешь.

Там, на займке, парням казалось, что убежать в партизаны – нет ничего проще. Доскакал до леса – и вот они тебе, партизаны. А на деле все не так.

– Пусть партизаны меня сами ищут. А то так и замерзнуть можно. – Федька достал винтовку и, оставив ствол в небо, раз за разом выстрелил.

– Ты что?

– Если партизаны здесь близко, то сейчас прибегут. А далеко – так сегодня все одно их не найти. Нам до темна хоть дровами запастись надо. Да и жрать охота – сил нет.

Прав, видно, Федька.

На небольшой поляне выбрали место. Спешились, вытоптали снег для костра. Топором – благо Лучка топор захватил – свалили звонкую сушину, разрубили ее на короткие сутунки.

– Близко партизаны – так услышат, – говорил Федька, врубаясь топором в дерево.

– А если семеновцы?

– Скажем, за дровами приехали. Да в этом лесу они не появляются. Мне Колька Крюков говорил. Опасно для них тут.

Парни, привыкшие к безлесью, костер разложили маленький. Рука не поднималась завалить в огонь сразу несколько бревешек. Но холод донимал крепко. Крякнув, Федька положил в костер один сутунок, потом второй, третий. Наломал сухих веток. Костер быстро загудел, налился красной силой. Жаром пахнуло в лицо.

– Вот чем хорошо в лесу – дров много.

Пришлось отодвинуться от обжигающего огня.

Разложили на холстине мерзлый калач, сало. Подвесили над костром набитый снегом котелок. Федька, подмигнув, достал спирт. От спирта никто отказываться не стал. Погреться надо.

Выпивка сделала лес уютным и своим. Постепенно темнело. От костра уже не видно дальних деревьев. Ярко горит костер – темнее вокруг.

Когда парни смирились с мыслью, что придется ночевать у огня, лошади вдруг подняли головы, запрядали ушами.

– Кони беспокоятся. Надо бы отойти от света, – Северька потянул к себе винтовку.

– Не двигаться! – послышалось из серой темноты.

От неожиданности Федька круто повернулся, вскочил на ноги.

– Стрелять будем, – голос из темноты жесткий, решительный. Дернешься – и теперь уж, без сомнения, схлопочешь пулю.

– Кто такие? – спросил Федька.

Краем глаза он видел, как Северька осторожно, почти без движения, вытащил нож, спрятал его в рукаве.

– А сами кто такие?

Голос слышался один и тот же, но уже было понятно, что там, за темными соснами, затаился не один человек.

– Лесорубы мы, – ответил Федька. – А вы что мирных людей пугаете? Вылазьте на свет.

Темнота зашевелилась; проваливаясь в снег выше колен, показался человек. За его спиной замаячили тени. У человека винтовка наперевес.

– Не балуйте, стрелять буду, – еще раз предупредил из темноты уже другой голос и с другой стороны.

Человек остановился неподалеку и распорядился:

– А ну, зайдите с другой стороны огня, рассмотреть вас хочу. А ты, длинный, винтовку брось. Брось, кому говорю! Прямо в снег кидай.

Северька выронил винтовку, которую все еще держал за ствол, обошел костер.

Хоть и надеялись парни, что в этом лесу могут быть только партизаны, но на душе было зябко; всем существом они чувствовали, что из темноты на них через прорези винтовок глядят люди. Пальцы – на курках.

Незнакомый мужик и парни стояли, разделенные костром, разглядывали друг друга. На мужике – лохматая шапка, короткий полушубок. На ногах – что-то вроде унтов. Лицо у мужика красное, в грубых складках.

– Андрей... Дядя Андрей, – тут же поправился Северька.

Он первый признал родственника Крюковых.

– А, караульцы. Здорово!

Дядя Андрей опустил винтовку, заулыбался. Махнул своим в темноту: вылазьте.

- Вы стреляли?
- Мы, – довольно ответил Федька.
- А чего шумели?
- Партизан приманивали. А то где вас тут в потемках искать? Знал – прибежите.
- Дошлый ты.

Из-за темных деревьев вылезли к свету костра человек десять. Иные бородатые. У иных на лицах только легкий пушок, как у Лучки. Молодые совсем. Среди них оказались и знакомцы.

- Спиртишком балуетесь, – обрадовался дядя Андрей. – Угощаете?
- А как же. Можем и угостить.
- Командир за выпивку вас не строжит? – спросил Северька.
- Мы ему докладывать про это самое не будем.

Через полчаса на маленькой лесной поляне осталось только темное пятно кострища да окурки самокруток.

Парней назначили в сотню Николая Крюкова, их поселщика. Да и вообще в сотне Николая были сплошь караульцы. Поселились в землянке, где старшим был коротконогий Филя Зарубин.

- Теперь Тропин нас ни за что не достанет.
- Скоро мы его сами достанем, – пообещал Филя.
- Прошло то времечко, когда они за партизанами по лесам гонялись.

Партизанство Федьке представлялось каждодневными засадами, стрельбой. Но командир Осип Яковлевич рассудил по-своему: новеньких пока в дело не пускать, подучить малость. Партизаны из фронтовиков обучали молодежь стрельбе, рукопашному бою. Для станичной молодежи это не внове – с детства впитывали военную науку. Но среди партизан было немало и крестьянских парней, державших шашку неумело.

– Так ты своему коню или уши, или еще чего порубишь, – сердились учителя. – Да и для врагов ты страху не представляешь.

Но Федька и его друзья видели, что нередко небольшие группы партизан седлали коней и на несколько дней исчезали из отряда. Привозили с собой раненых. Ясно – в бою были. Но на просьбу парней отправить их в дело партизанский командир хмуро улыбался.

- И вы успеете.

Вообще-то, в первые дни друзья не скучали. Ходили в гости в соседние землянки – много знакомых в отряде, вели веселые разговоры. Вроде уж всех партизан перевидели, но нет-нет, да и вывернется старый приятель.

- Здорово! – и расплывется в улыбке.

У Северьки в отряде своя радость: Устя здесь. В первый вечер не удалось встретить, хоть Филя Зарубин и рассказал, как ее найти.

- Она при нашем лазарете работает. Там и живет.

Северька отправился к просторной землянке, из окон которой пробивался слабый свет. У порога встретил рослую бабу.

- Кого тебе? – недовольно спросила баба. – Приятеля пришел проведать?
- Не. Устю мне надо увидеть.

Баба уткнула руки в бока.

– А ну, проваливай отседова. На дворе ночь, а он в гости. Много вас тут шляется. Проваливай, проваливай, кобель бесстыжий.

Северька хотел что-то сказать, объяснить, но баба стала кричать громче, и пришлось парню уйти.

«Много вас тут шляется». Смысл этих слов дошел до Северьки, лишь когда он вернулся в свою землянку. Там Федька справлял новоселье и шумно допивал с посельщиками остатки спирта. Опоздай Северька, и не видать бы ему сегодня выпивки. Северька выхватил у рыжего друга кружку. Тот было заартачился, но, взглянув на парня, смолк.

Потом Федька вытащил Северьку на улицу.

– Ты чего такой квельый?

Незнакомо и глухо вздыхали вершины сосен. Сыпало колючим снегом на разгоряченные спиртом и жарой землянки головы. Федька зябко повел плечами.

– Пустое, – сказал он успокоительно. – Не такая она девка, чтоб куры строить. А насчет того, что крутится около нее кто, так это позволь мне разобраться, ты не встревай.

Встретились Северька с Устей назавтра. Утром Филя послал парня к общему котлу за кашей для всей землянки. Северька хотел было одеться, но ему сказали: беги так.

Обжигая пальцы – котелок подсунули без дужки, а Северька не надел даже рукавицы, – парень спешил по широкой тропинке и неожиданно столкнулся с Устей.

– Северька, и ты уже здесь! – в голосе девки была такая радость, что Северька разом забыл свои страхи.

Он поставил котелок в снег и протянул Усте руку.

– Когда приехали? Ночью, поди?

– Вчера вечером.

– И меня не нашел? – в голосе Усти обида. Северька развеселился.

– Был я вчера у вашего лазарета. Там меня такая бой-баба встретила, что ночью при-
снится – испугаешься. И дала от ворот поворот. И налаяла еще.

Засмеялась и Устя.

– Тетка Дарья такая. Никому спуска не дает. И меня оберегает. Ты, говорит, у меня заместо дочери. Не она, так эти ухажеры совсем проходу бы не дали.

– А ты командиру скажи.

– Совестно с такими пустяками лезти. Потом вы ведь, мужики, так судите: сама девка виновата... Так ты приходи сегодня. Тетку не бойся. Иди, иди. Замерз весь. Раздетый.

Кашу Северька принес холодную. Партизаны, подсунувшие парню котелок без дужки, разочарованно свистнули. Не удалось увидеть, как пляшет новичок, обжигая пальцы.

– Тебя за смертью только посылать, – сказали они недовольно.

Друзья вживались в новое место. Постепенно человеческий муравейник в лесу перестал быть для них толчеей людей, лабиринтом троп и беспорядочным скопищем землянок. Незаметно, исподволь они увидели и почувствовали в этом муравейнике какой-то порядок.

Колька Крюков с радостью взял парней в свою сотню. Хоть и не закадычные дружки прибежали, а все ж свои люди, которым головой довериться можно.

– А я чувствовал, что недолго вы на заимке просидите. Ждал вас.

Через неделю Колька сказал, что парни от учебы освобождаются.

– Других надо учить, а вы в этом деле сами мастаки. А потом – надо в кузнице кому-то работать. Пойдете?

– Все лучше, чем затвор винтовочный разбирать да собирать, – ответил за всех Федька. – А в дело когда пойдём?

– Командир об этом сам скажет.

– Чудно. Почему у нас командир, а не атаман? Не по-казацки как-то.

– Это у белых атаман, – строго ответил Колька.

Срубленная из неошкуранных бревен кузница приютилась поодаль от табора в ельнике, около самого ключа. Вода в ключе не замерзала и в самые клящие морозы. Рядом с почерневшим срубом кузницы – станок для ковки лошадей.

Северька осмотрел станок придирчиво.

– Плохой. Да, видно, им и не пользуются.

– А коней на собственном колене подковывают, – поддержал Лучка.

Из дверей кузницы выглянул сухолицый человек. На лице топорщились темные усы.

– Это что за проверяющие? Или новый наряд?

– Так точно. Прибыли в твоё распоряжение, – Федька хотел лихо щелкнуть каблуками, но мягкие унты только тихо шикнули. – Ладно, – махнул Федька рукой, – вот как-нибудь сниму с беляка хромовые сапоги, тогда и доложу по полной форме.

– Смотри не забудь. Знакомиться будем?

– Надо бы.

Кузнец назвался Тимофеем, читинским рабочим. Парням он пришелся по нраву: веселый, разговорчивый.

– Вот ты, – ткнул он пальцем Северьку в грудь, – будешь молотобойцем. Только предупреждаю: не стукни меня молотом по голове. И по рукам тоже. А теперь без шуток: сумеешь?

Северька повел плечами. Махать кувалдой – дело нехитрое. Где сильнее ударить, а где чуть-чуть.

– Ты у меха стоять будешь.

Федька согласно кивнул головой.

– А Луке – я правильно запомнил твоё имя? – следить, чтоб была вода, уголь.

Хоть никогда раньше не приходилось Северьке работать молотобойцем, эту науку он освоил удивительно быстро.

– У тебя отец не из рабочих? – спросил Тимофей своего помощника, когда все сгрудились около открытых дверей покурить.

– Нет, из казаков. А чо?

– Соображаешь ты быстро.

– А казаки хуже рабочих соображают? – прищурился Федька.

– Да ты не лезь в бутылку, – примирительно сказал Тимофей. – Это я к тому, что рабочим с металлом много приходится иметь дело. Догадываешься?

После перекура Федька решительно взялся за молот.

– Теперь я.

Но Тимофей остановил парня.

– Не будем Бога гневить: у нас с Северьяном неплохо получается. Потом – работа срочная. Кончим эту работу – всем дам молотом поиграть. Сделаю из вас добрых молотобойцев. А сейчас – не ко времени.

Работа шла споро. Звонко и дробно выстукивал маленький молоток в руке сухолицего Тимофея, басисто ухала и соглашалась кувалда. Так. Так. Так! Рвались из-под молота искры. Скрипел, вздыхал мех. Огонь торопливо кидался на черные угли, высвечивал потные лица, дальние углы кузницы, захлебываясь воздухом, надсадно вздыхал: у-ух! Шипела белым паром в корыте с водой каленая подкова.

После обеда, когда кузнецы дремотно и сладко отдыхали на коротких чурбаках, в кузню вошел Иван Лапин.

– Люблю кузнецов. Я раньше хотел зайти, но у вас тут такой звон стоял, что побоялся: не нарочно зашибете.

Кузнец вскочил, показал на сосновый чурбак.

– Садись, Иван Алексеевич.

Тяжело опираясь на костыль, Иван Алексеевич прошел вперед, сел, вытянул раненую ногу.

– Не помешал вам?

Ивана Алексеевича Лапина парни уже знали. Не то бывший учитель, не то на железной дороге работал. Грамотный мужик. Но, в общем-то, он местный, уроженцем из Забай-

калья. По разумению некоторых, жизнь у Ивана Алексеевича не шибко сложилась: пришлось ему понюхать каторги. Каторга простому мужику тяжела, а грамотному да образованному – вдвойне горше.

О каторге Иван Алексеевич рассказывает нечасто. Но говорит чудно: другой жизни не хочу, по совести жизнь прожил. По совести – это верно. Иван Алексеевич из образованных, а мужик правильный.

Месяца за три до прихода парней в отряд прострелили Лапину в одном из коротких боевых ног. Пуля кость не задела – на другом мужике давно бы все зажило, а Иван Алексеевич только недавно стал с палочкой ходить.

– Огневица у него чуть было не приключилась, – объясняла партизанам лазаретная тетка Дарья. – Боялась я шибко.

– Хорошо у вас тут, – Иван Алексеевич аккуратно, не просыпая ни крошки махорки, свернул сигарку.

Тимофей выхватил щипцами из горна красный уголек, услужливо протянул гостю.

– Успеете, ребята, заказ выполнить? – спросил Лапин, откашлявшись после крепкой затяжки. – Подковы нам очень нужны. Много коней некованных.

Гостю надо отвечать серьезно. Иван Алексеевич ходит у командира отряда как бы в помощниках. Комиссар.

– Должны успеть, – Тимофей смотрит на парней. – Правильно я говорю?

– Стал быть правильно, раз надо, – за всех ответил Северька.

– Лучше с избы на борону прыгнуть, чем не успеть, – ударил себя по ляжкам Федька.

Каждое утро парни уходили в кузницу. Тимофею помощники нравились. Он, видимо, сказал об этом командиру, поэтому новый наряд в кузницу не присылали. Да друзья и сами не против такого решения. Могучему Северьке нравилась игра с молотом, нравился звонкий перестук и снопы красных искр. Лучке – тому лишь бы с друзьями быть. А Федьке – везде хорошо. Тем более что он упросил Тимофея сковать нож. Тимофей мужик добрый, а потом надо как-то отблагодарить своих помощников, обещал сковать нож всем на зависть.

Федьке хотелось иметь нож массивный, с длинным и широким лезвием. Тимофей спорить не стал, только сказал улыбаясь:

– С таким разбойным кинжалом на большой дороге стоять. А потом, знаешь, как на Кавказе говорят: чем длиннее кинжал, тем храбрость короче.

Федька кавказской мудрости не поверил, рукой махнул, ответил свое.

– Значит, человек с шашкой – совсем трус. А с пикой – и того боле. Врешь ты, однако, про кавказцев.

Тимофеева работа Федьке понравилась. Лезвие отливают холодным синеватым блеском. Хищно суживается конец ножа. Парень целый вечер строгал, сделал деревянные ножны, обшил их кожей.

Потянулись к Тимофею и другие партизаны с заказами. Но кузнец разом всем отказал – материалу нет.

Как-то вечером через рассыльного вызвали Федьку в землянку к Ивану Алексеевичу. Федька пошел без большой охоты.

– Расскажи, как ты вчера вечером развлекался.

Федька сделал непонимающие глаза, но про себя подумал: «так и есть, про драку разговор пойдет».

– За что ты партизана из второй сотни избил?

– Ну, уж и избил... – Федька почувствовал, как лицо растягивает дурацкая ухмылка. – Поговорили малость.

– А ты расскажи.

– И рассказывать вроде, Иван Алексеич, нечего. Ударил два раза и все. А он с ябедой пошел?

– Другие сказали. Не он... А за что?

– За дело. И чо вы за него заступаетесь?! – недовольно зачастил Федька. – Ну, подрались. Мало ли мы друг другу у себя в поселке носы били.

– В поселке, да не в отряде.

Дрался Федька по делу. Но как обо всем этом расскажешь Ивану Алексеичу? Вчера вечером возвращался он от знакомцев в свою прокопченную табачным дымом землянку. Остановился под темными деревьями по малой нужде и засмотрелся на покрытое звездной изморозью небо. Хорошо слышно, как переговариваются около землянок партизаны, фыркают лошади. Вот тогда-то и услышал Федька со стороны лазарета женский голос. Парень приподнял ухо шапки, прислушался. Говорила Устя. Разобрал слова: «Пусти, отстань!» В голосе девки злое отчаяние.

«Это кто же над посельщицей изгаляется?» Федька кошачьим шажком скользнул в темноту. Меж деревьев он увидел две фигуры. Незнакомый парень хватал Устю длинными руками, тянул к себе.

– Закричу сейчас! – это опять Устин голос.

– Ах ты, гад! По чужим огородам лазить! – Федька рванул парня к себе. Схватил левой рукой за пуховый шарф, правой ударил в широкий подбородок. Парень ухнул на снег, хотел было тотчас подняться, но Федька изловчился, пнул обидчика в живот.

Устя схватила Федьку за руку.

– Не надо. Хватит ему. Больше не пристанет.

Федька оттолкнул девку, пьянея от радостной злобы, снова кинулся к парню. Тот уже был на ногах, но не успел увернуться от удара.

Остыл Федька разом. Он помог парню подняться, легонько подтолкнул его в зад.

– Ковыляй отсюда. И по этой тропинке больше не ходи. Изувечу.

Парень, всхрапывая, скрылся в темноте. Федька поднес руки к глазам, увидел на них темные пятна, принялся снегом смывать кровь.

– Пойдем к нам. Теплой водой умоешься, – позвала Устя. Но Федька отказался.

– Ничего, и так сойдет. А ты про этот шум Северьке не говори. Изведется.

– Если кто пристанет – тебе лучше скажу.

– Во-во, – обрадовался Федька. – Я их быстро отважу.

Иван Алексеич – все-таки, видно, он учителем был – понял, что не может Федька рассказать про драку.

Федька про себя буркнул, облегчил душу: только-то догадался, короста хромая.

О причинах драки Федька так и не рассказал, но за короткую беседу успел взопресть. Иван Алексеич вроде и не ругает, а нелегко его слушать.

– Ладно, – сказал Федька на прощание, – я понял. Драться зазря не буду. Только, вот те крест, не зазря я вчера подрался.

– Не подрался, а избил.

– Ну, уж и избил, – Федька снова почувствовал, как непрощеная ухмылка растягивает лицо.

Чуть не каждый день в лесной отряд прибегали новые люди. В землянках становилось тесно и шумно. По приказу командира партизаны перековали коней, ремонтировали седла, точили шашки. Из глубины леса охотничьи наряды привозили туши медведей, коз, сохатых. Распоясавшим кушаки при виде мяса пришлось снова подтягиваться. Мясо на кухню поступало сытной, но все же нормой. Остальное – переваривали в больших котлах, складывали про запас.

По всему чувствовалось – быть переменам.

Вскоре друзьям удалось участвовать в деле. Дело небольшое, но все же дело. Сотня Николая Крюкова отбила семеновский обоз. Партизанам повезло: запаслись хлебом, патронами. У одного из возниц отобрал Федька банчок спирта и спрятал в своих переметных сумках.

А в конце зимы, когда прибыли гонцы от главных партизанских войск, отряд Осипа Смолина вышел из леса. В два дня заняли несколько сел. Под свист и стрельбу врываются на широкие улицы, рубили семеновские гарнизоны. Можно бы гнать беляков и дальше, но командиры не рискнули далеко уходить от леса. Да и коней надо было поддержать: подтощали кони в тайге.

Через неделю семеновцы подтянули войска. Начались бои. Партизаны оставляли захваченные села, а через день-другой возвращались, лихо выбивая белых.

Но где-то совсем близко гудели большие бои. Подходили партизанские соединения, и подходила Красная Армия.

Шел последний год Гражданской войны в Забайкалье.

V

Весной, по теплу, опустели заимки. Скот угнали в поселок. Нечего больше делать на заимках. Да и в поселке сейчас работа не ахти какая. Кто хлеб сеял – уже отсеялся. Многие же посеяли столько, что пока будут молотить – съедят.

До покоса далеко. Мужики днями сидели на завалинках, дымили самосадом.

В поселке стали появляться чужие люди. Приезжали семьями, со скотом; останавливались табором на лугу, у самого берега грязной и топкой речушки, впадающей в Аргунь.

– За границу подались, – судачили на завалинках. – Что только делается на белом свете.

Вся громадная луговина пестрела палатками, телегами, яркими бабьими сарафанами. Прибывали все новые и новые обозы, зажигали дымные кизячные костры, останавливались в последней надежде: авось Бог даст, разобьют, порубают большевиков, и можно будет повернуть коней обратно к просторным крестовым домам, к уверенной стародавней жизни. Дальше-то все равно ехать некуда. Дальше чужая земля, Китай.

Мужики заходили в поселок. Большинство прохаживались по улицам в начищенных до блеска сапогах, в распущенных рубахах. Расчесанные бороды окладисто лежали на груди. Справный народ.

Но ходили и в ичигах, в жирно смазанных дегтем ичигах.

Бабы в поселке появлялись редко. Не до того. Подоткнув подола юбок, бегали по теплому полю за удивленными ярким миром телятами, доили коров, плакали у дымных костров.

У всех было свое дело. Ребятишки безвылазно хлюпались в зарастающей зеленой ряской речке, сучили из белого конского волоса лесы, ловили карасей, во множестве здесь водившихся. Из Караульного приходили сверстники, с любопытством разглядывали приезжих. Но не дрались: дома строго запретили задирать чужих. А признакомившись, вместе сидели у костра, слушали страшные сказки, после которых хотелось непременно оглянуться, не стоит ли непонятное и темное за спиной.

Старухи молились. Вздыхали, крестились на восток, проклинали антихристов, носящих каиново клеймо, в злобе своей поднявших руку на царя. Ворожили на картах, разбрасывали бобы, радовались снам, которые сулили погибель сатанинскому воинству, дальнюю дорогу домой. И снова молились.

Беженцы прибывали. Зашевелились, заговорили о китайской стороне и в Караульном. Богомяков пригнал с дальних пастбищ, поближе к поселку, двухтысячную отару овец, косяк породистых кобылиц. Глядя на него, стали чинить телеги и другие мужики.

Около леса партизаны перекрыли почти все дороги. А по теплу придвинулись и к большим степным поселкам. На голых увалах нет-нет, да и маячили партизанские разъезды.

Последнюю дневку партизанская разведка провела уже совсем близко от Караульного, за Казачьим хребтом. Николай Крюков, ехавший за старшего, отобрал в поход в основном поселщиков.

– Места там нам всем родные. Каждую кочку знаем, – объяснял он свой выбор командиру Осипу Смолину.

– Ладно, – махнул рукой Смолин. – Понятно. Только я тебе все равно маршрут дам. Задача тебе ясна: посмотреть что к чему. Наденете казачью форму. Погоны там... У родных не ночевать. Какая-нибудь сволочь подсмострит, родных своих больше не увидите. Белые сейчас злые.

– Согласны, – хмуро кивнул Николай. – Жалко, конечно...

– Это приказ, – напомнил Осип Яковлевич.

Николай построжал лицом.

– Сам этого не сделаю и другим не разрешу, – из-за спины показал кулак своим.

Федька расплылся в улыбке, подмигнул друзьям. Про Смолина не зря говорили, что он затылком может видеть.

– А ты, – повернулся он к Федьке, – если будешь лихачить и полезешь, куда тебя не просят, из разведки вылетишь. В кашевары пойдешь. Николай доложит.

Федька рассматривал пыльные сапоги на своих кривых ногах, поигрывал нагайкой. Командир ушел.

– Ты, паря Кольча, вот что, – сказал Федька, – если наговоришь Смолину на меня, ей-богу, морду тебе расквашу. Знай.

– Так я сейчас пойду к Осипу Яковлевичу и скажу...

– Что скажешь? – округлил Федька глаза.

– А, дескать, мне этого антихриста в отряд не надо. Тогда как?

– Не антихриста, а анархиста, – поправил Лучка, пробуя, как вынимается шашка из ножен. – С ябедой пойдешь?

– Можно и сходить.

– Ну, пошутил я, – криво ухмыльнулся Федька. – Могу же пошутить.

Выехали с наступлением темноты. Ехали осторожно, молча и, казалось, каждый ушел в свои думы. Даже Федька молчал. Ночь была спокойной, и высланные в дозор Филя Зарубин, полгода назад прибежавший в отряд, и Петр Фролов не давали о себе знать.

Ехали всю короткую ночь, спешили пройти как можно больше, а утром стали подыскивать овраг для дневки.

Никита Шмелев, мужик из Тальникового, скрипнул седлом, повернулся к Николаю, указал в сторону двухголовой сопки.

– Вот там, паря Николай, места шибко хорошие. И ключик раньше бывал. Отдохнем по-доброму.

– Врасплох нас не застанут? – Николай привстал на стременах.

– Не-е-е. За пять верст вершего видно. Чуть чего – и в сопки уйти можно.

Овраг и верно оказался хорош. Только без ключика. Но нашли большую яму, наполненную водой. В луже густо плавали синекрылые бабочки, отливающие зеленью и синью букашки. Лошади неохотно пили теплую воду, цедили ее сквозь зубы.

Николай выставил наблюдение. Люди расседлали лошадей и завалились спать.

Солнце поднималось все выше и выше, накаляло степь. Северька, вылезший на край оврага, лениво посматривал на сопки, кусал сизую длинную травинку. На мгновение ему показалось, что низкорослый кустик, росший сажень в сорока, дрогнул: «Чего бы это он?» – забеспокоился парень. Северька спрятался за кромку оврага, тронул губами ухо напарника. Потом,

припадая по-кошачьи, уполз в траву. Уже близ куста он приподнялся на колени, вскинул к плечу винтовку.

За кустом притаился мужичонка, что-то высматривая.

Много по степи шаталось в эти годы народу. Встречаясь, подходили с опаской, готовые в любой момент послать друг в друга пулю. Сходились, осторожно прощупывали друг друга в разговоре. И бывало так, что после встречи уходил один, а другой оставался лежать с почерневшим лицом и неподвижными открытыми глазами. И долго еще над этим местом после кружили вороны.

– А ну, мордой в землю! – прошипел Северька. – И не брыкайся.

Мужичонка ткнулся в траву, медленно повернул злое лицо.

– Оружие есть? – Северька прижимает приклад к плечу.

– Нет. Не видишь ли чо?

– Не разговаривай и ползи к оврагу.

Когда спустились в отвилок оврага, Северька разрешил задержанному подняться на ноги.

– Куда ж ты меня, паря, ведешь? Чо со мной делать хочешь?

– Уряднику сдам, а там мое дело маленькое.

Задержанный ссутулился, пошел молча, но потом круто повернулся. Северька прыгнул назад, поднял винтовку.

– Отпусти ты, паря, меня, – слезно заговорил мужик. – Чо тебе стоит? Век буду Богу молить. Отпусти, не бери грех на душу.

В овраге уже все проснулись, разбуженные Северькиным напарником.

– Господин урядник, – доложил Северька. – Задержал вот человека. Выглядывал чего-то около нас.

– Кто такой? Откуда? Что здесь делаешь? – отрывисто задавал вопросы Николай.

– Господин урядник, – вылез вперед в распущенной нижней рубахе Федька. – Видно же, что партизан. Прячется по оврагам. Кокнуть его, да и дело с концом.

Николай внимательно вглядывался в пленного. Но лицо пленного ничего не выражало. Только чуть дрогнули набрякшие веки.

– Расстреливать его не будем... зарубим. Не то шуму много. Ты и зарубишь, – подмигнул Крюков Федьке.

Жестокая это проверка, да что делать. Федька сжал зубы, выхватил шашку.

– Я моментом, – повернулся он к товарищам. – Эй, кто хочет посмотреть настоящий казацкий удар, подходи сюда. Сейчас я эту гадину развалю от шеи до паха.

Пленный посерел, в тяжелой мужичьей злобе уставился на рыжего парня.

– Сволочи. Безоружных рубить – это вы можете... Ну, руби, чего тянешь! – крикнул он хрипло.

– Николай Алексеевич, хватит, – пыхтя трубкой, сказал Никита Шмелев, притаившийся до этого за спадами. – Знаю я этого мужика. Тальниковский он. Эпов Григорий.

– И ты, дерьмо, с ними, – взъярился мужик, признав Никиту.

Николай положил руку на плечо Григорию.

– Ты прости уж нас. Проверяли мы тебя. Сам понимаешь – нельзя без этого. Жизнь теперь такая.

– Так кто ж вы? – не удержался Эпов.

– Партизаны. Самые что ни на есть настоящие партизаны, – успокоил поселщика Шмелев.

Но Эпов обозлился еще больше:

– Так пужать человека, разрази вас гром. И ты, Никита, сволочной человек, нет, чтоб сразу сказать, свои, мол. С вывертами все, – Григорий матерно ругался, смахивая рукавом мутные слезы.

Парни смотрели на мужичьи слезы, кряхтели, отворачиваясь, лезли за махоркой.

– Ничего, – кивнул им Никита. – Это бывает. Пройдет. Я, когда с-под расстрела ушел, тоже в мокрость ударился. Лежу в буреке, знаю, что уже не возьмут меня, а сам слезьми исхожу.

Эпов поднял голову.

– Спирту дайте, христопродавцы. Душа горит. Дайте. Тогда прощу.

– Может, аракой утетишься, дядя Григорий?

– За молчи, язва рыжая, – Эпов через силу улыбулся. – Давай араку.

– Вернемся по домам, тогда и замоем обиду, – Федька надел рубаху. – А пока у нас даже воды нет.

Всем сразу захотелось пить.

– Да ключик же рядом, – удивился Эпов. – Вода студеная – зубы ломит.

– Я ж говорил, что ключ где-то тут, – обрадовался Шмелев.

Быстро собрали фляжки, и Эпов в сопровождении Северьки пошел вниз по оврагу.

Белое солнце повисло над каменистыми голыми сопками. Недавно прошли грозвые дожди, ожили начавшие было высухать травы, и теперь пади и елани отливают свежей синевой острецов. Степь цвела. Удивительное это время, когда степь цветет. В неизбывной красоте качаются на ветру яркие марьины коренья, синеют чуткие колокольчики, остро поглядывает из травы волчья сарана.

Жарко. Кажется, все живое должно попрятаться от жары. Но высоко в бледной синеве неба на распластанных крыльях кружит орел. Он медленно выписывает круг за кругом и вдруг стремительно падает на землю.

Иногда на желтеющем бутане среди чутких кустиков перекаати-поля появляется тарбаган. «Винь-винь, – облаивает он горячую степь. – Винь-винь».

Моноотнно жужжат слепни, бьются о лошадей, кружат над мокрыми телами казаков. Лошади мотают головами, в муках секут себя жесткими хвостами. Федька наломал веник из метельника, отгоняет от лошадей паразитов. Но это помогает мало.

– Кольша, слышь, командир, может, заседлаемся?

– Только по темну пойдем.

Федька обидчиво бросает веник, ложится на попону. Всю жизнь чего-нибудь нельзя. То этого, то другого. Всю жизнь как по прочерченной линии. В сторону ступил – подзатыльник. И так с самого рождения человека. В партизанах и то... А может, еще пожестче. Северьке, Кольке Крюкову – тем легко. Прикажи – каблуками шелкать будут, навтыяжку стоять. Бравые казачки.

«Дис-цип-лина! – это Колька так говорит. Словно гвозди вколачивает. – Без дис-цип-лины победы не будет».

Правильные у Кольки слова. Ведь Осип Яковлевич то же самое говорит. Ну, а сопки, реки, небо, травы, ветер? И жизнь по прочерченной линии. Это как? Как это вместе объединить? И для чего человек рождается? От мамки до ямки по линеечке протопать? А потом ручки на груди смирно сложить? Дескать, вот праведник лежит...

И надумается ж такое. От жары, видно. Федька поворачивается на бок, сплевывает вязкую слюну.

Эпов и Северька принесли воду. Партизаны быстро разобрали холодные фляжки, запрокинув головы, жадно пили. Утирались рукавом и снова пили.

– Что же нам с тобой, Григорий, делать? – задумался Николай Крюков. – Взяли бы тебя с собой, да коня заводного нет...

– Слышь, Николай, – захохотал Федька, – давай я его лучше зарублю. И мороки никакой. Николай шутку не поддержал. Федька понял, что сказал не то, замолк.

– Не бросайте меня, – вдруг взмолился Эпов. – Ну, куды я один? В село все едино мне не вернуться. Не берите грех на душу.

И верно: Григорию домой не вернуться. Там, может, его ждут не дождутся, чтоб к стенке поставить. Потому как дезертир. Потому как в дружине не хотел ходить. Потому как про свободу горлопанил. Да мало ли еще каких грехов можно насчитать за маломощным хозяином Гришкой Эповым.

Лучка Губин, прислушивавшийся к разговору, приподнялся с земли.

– Пусть он со мной поедет. И вдвоем не задавим коня.

Эпов обрадованно заморгал глазами, подсел к Лучке и больше уже не отходил от парня.

– Дядя Григорий, – позвал Федька.

– Отвяжись от меня, репей. Племянничек нашелся.

– Ты из револьвера стрелять можешь?

– В тебя, язву моровую, попал бы обязательно.

Федька полез рукой куда-то за спину, вытащил револьвер, расплываясь в улыбке, протянул его Эпову.

– Возьми. Достанешь винтовку – отдашь. Смотри, заряжен.

– Я девятьсот четвертого года призыва, а ты меня учишь.

Но парни видели – оружие сделало Григория счастливым: разгладились морщины около губ, растаяла обида на Федьку. Эпов исподней рубахой нежно протер револьвер, сдул с него пылинки.

– Коня теперь достать – и человеком бы стал. Примет меня в отряд Осип Яковлевич?

– Примет, – успокоил его Николай.

– Эх, урядник, идол ты бурятский, до смерти не забуду доброту вашу. А то ж куды я один? – Эпов расчувствовался, достал кисет, сделанный из мошонки молодого барана, принялся угощать всех махоркой.

– Не, – отвел его руку Федька и скорчил рожу, чем вызвал смех. Смеялся и Эпов.

От Эпова партизаны узнали, что в Тальниковом вторую неделю стоит сотня баргутов. Там же банда Веньки Кармадонова.

– Это ваш, караульский, – мстительно сказал Григорий и посмотрел на Федьку.

Кармадонов имеет свой обоз. Но может быть, Венька со своим войском уже ушел к границе.

С рассветом партизанская разведка подошла к Караульному. Спешились в тальниках, густо разросшихся по излучинам речки. Последние годы тальник почти не вырубался, и теперь в его зеленых зарослях безбоязненно могли укрыться целые сотни. Местами тальник был так густ, что без топора или клинка не то что конному, а и пешему не пройти. Прибрежные балки растянулись на многие версты. В широких логах даже в самые засушливые годы наметывали громадные зароды духмяного сена.

Как и на прошлой дневке, Николай выставил наблюдателей.

– Смотрите строже, – наказывал он Филю Зарубину и Лучке Губину. – Особенно за дорогами. Пусть люди поспят. Часа через два мы с Федькой вас сменим.

И здесь земля щедро цвела. Черноголовник, ромашка, маки сплошь устилали луговину.

– Паря, красота-то какая! – не удержался Филя. – Я здесь сколько бродил, – мотнул он в сторону лугов, – и не видел. А сейчас будто прозрел.

Лучке нравятся Филины слова.

– Много красоты на земле. И видеть ее надо. А не все видят.

Филя мужик бывалый и свое суждение имеет.

– Чтоб красоту видеть, сытое брюхо надо. Наешься – тогда и душа для красоты открыта. Только и тут край есть. Когда обожрешься – тоже ничего не увидишь.

Родные места настраивали на воспоминания. Детство. Совсем недавно проскакало оно в компании сверстников на гибких таловых прутьях. Скакали лихие казаки, лихие рубаки, и горе было всем врагам царя и Отечества. Свистели деревянные шашки, летели на землю

цветы черноголовника и полевого чеснока. А теперь Лучка сам выступил против царя, врага Отечества. Нет, давно прошло детство.

– Анна моя лучше всех девок казалась. Да так оно, верно, и было, – Филя задумчиво улыбается. – Смешно, как я ее первый раз провожать насмелился. Сердце, думал, выскочит, когда взял ее за руку. Смехота. А потом вроде обнять решился. Зацепил за шею, как сноп серпом. Идем. Она молчит, и я молчу...

– Теперь так же девок Леха Тумашев провожает.

– Во, я и был вроде Лехи. А таким, как Федька, легче живется.

– Это кто тут мои косточки перемывает? – Федька вылез из-за куста. – Тихо вроде?

– Тихо.

– Тогда спать катитесь.

Федька прилег в траву, снял фуражку.

– Катитесь. Сейчас Николай придет.

– Обожди, паря, – Филя поднялся на колени, – пылит вроде кто-то. Вон по дороге.

– Лучка, тащи Николахин бинокль. Поглядим.

Парень вспугнутой ящерицей скользнул в кусты: был Лучка и нет Лучки. И не слышно даже.

– Хорош пластун, – Филя одобрительно причмокнул.

Николай появился быстрее, чем его ожидали. Он поднял к глазам завезенный с германского фронта бинокль, смотрел долго, потом передал бинокль Филе.

– Отряд какой-то идет. Сотни две, не меньше.

– Беляки, – уверенно подтвердил Филя, не отрываясь от бинокля.

– Батарея шестидюймовых пушек... Обоз имеют.

– К границе подались господа, – ощерился Николай. – Ночевать, видно, в Караульном будут. А может, и сразу на ту сторону, в Маньчжурию.

Белоказаки скрылись в лощине, и только по белесой ленточке пыли можно было догадаться, что в лощине кто-то передвигается.

– А вон еще черти вершего несут.

– Где? – Николай снова схватил бинокль.

– Да не на дороге. Не туда смотришь. Вон вдоль кустов едет.

– Парнишка, – Николай прилег в траву. – Но спрятаться все едино надо.

– Чей же это парень? Не узнаю. Может, ты, Федька, знаешь?

Федьке давно хотелось подержать бинокль.

– Конечно, знаю. Я всю свою родню знаю, – Федька заулыбался. – Я не такой, чтоб от родни нос воротить. А это Степанка, братан мой.

– Ну, балаболка, – Филя толкнул парня в спину. – Степанка, значит?

– Сам. На Игреньюхе.

– Показываться не будем, – сказал Николай. – Не надо, чтоб нас кто-нибудь видел.

– Да что ты, – изумился Федька. – Да Степанка про Караульный лучше взрослого знает.

А про нас не болтнет.

– Хотя ладно, – согласился Крюков. – Встречай братана. Все одно мы отсюда ночью уйдем.

Прошлой осенью исполнилось Степанке двенадцать лет. В глубине души он давно уже считал себя взрослым, прячась от матери, покуривал махорку. Только вот беда: рос Степанка плохо, худое тело медленно наливалось силой. Но зато всегда удачлив был Степанка, когда ватага ребятишек, возглавляемая давно отслужившим действительную службу Филей Зарубиным, ходила на Бурдинское озеро бить линных уток. А какие там караси! С лопату есть! И карасей умел ловить Степанка.

– Степанка! – позвал Федька громким шепотом из тальников. Лошадь испуганно шарахнулась, и Степанка натянул поводья, готовый в любую минуту всадить пятки в бока Игреньюхи.

– Не бойся, – из куста вылез Федька, играя довольной улыбкой. – Не ожидал?

– Братка! – Степанка слетел с лошадиного крупа. – Вернулся?

Федька протянул широкую, давно загрубевшую ладонь.

– Ох, и напужал ты меня, братка. Кобыла ушами прыдет, всхрапывает, а мне и невдомек...

А тут и ты крикнул...

– Да не крикнул я. Шепотом. Пойдем-ка от глаз подальше. Неровен час, кто увидит.

Братья зашли в кусты, привязали немолодую, чуть не в два раза старше Степанки, Игреньюху.

– Ну, пойдем, паря Степан, – сказал Федя и пошел, пригнувшись, в глубь тальников. – Потолкуем в укромном месте.

Вскоре вышли на маленькую полянку, и Степанка замер от восторга. На яркой от солнца зеленой луговине сидели и лежали поселыщики, убежавшие в партизаны. Рядом – винтовки, пашки. У куста оседланные кони привязаны. «Добрые кони», – отметил про себя подросток.

– Федя, а почему вы в погонах? К белым ушли? – опасливо шепнул он брату.

– Не выдумывай. А погоны – так надо.

– Лазутчики вы? Во здорово!

Увидев Федькиных дружков, Степанка уже не сдерживал улыбки.

Гостю, как взрослому, все подавали руки, жали крепко, по-мужски, и Степанка от удовольствия был на седьмом небе.

– Давай к нашему столу.

На попоне лежали сухари, полоски вяленого мяса, сочные стебли дикого лука-мангыра.

Степанка не заставил себя упрашивать, ел быстро, видел – у каждого поселыщика в глазах вопрос.

– Ну, рассказывай, как жизнь в поселке, что нового.

– Не, – мотнул головой Степанка, – я так не умею. Лучше спрашивайте.

– Как оказался-то здесь?

– Мы с Дулэем скот пасем. А вчера митрофановского бычка потеряли. Дулэй мне и говорит: «Езжай по речке. Может, бычок где в грязи сидит, если беляки не украли».

– Воруют, сволочи?

– На это дело они мастаки.

– Ты про нас никому не говори, – Николай потрепал гостя по плечу.

– Я чо, маленький? – обиделся Степанка.

– Анну мою видел? – Филя подсел поближе, по-бурятски сложил ноги.

– Вчера видел. Она с ведрами шла. Седни утром дядю Алексея Крюкова видел. Чалый у него хромает, копыто расколол.

– Совсем, значит, обезножел отец, – нахмурился Николай. – Ну, ладно, про родных нам потом расскажешь, а сейчас службу надо выполнять. Белые есть у вас?

– Полно, – Степанка отпил воды из фляжки. – Ну вот, теперь совсем наелся. Полно, говорю, белых. Третьего дня даже к нам поставили пять человек. Злые какие-то, грязные. У некоторых раненые лежат.

Степанка рассказывал добросовестно, вспоминал все виденное, слышанное. Рассказал о беженцах, что живут на лугу, о двух неизвестно за что расстрелянных казаках, о пушках, стоящих за низовскими огородами, на взлобке.

– У Богомяковых важный атаман остановился. Вчера вечером гуляли у них, песни пели...

...Снова кустами Федька вывел братана к Игреньюхе, которая, полузакрыв глаза, терпеливо ждала хозяина.

– Я совсем забыл, братка, рассказать, когда вы убежали, вас целый день искали. Проня Мурашев злой бегаёт, Андрюха Каверзин злой бегаёт.

– Пускай злятся, – Федор помог Степанке взобраться в седло. – Помни, никому ни слова. Симка как там, крутит?

– Не-е-е... Видно бы было. Не-е-е... Она девка хорошая...
Степанка выехал из кустов и затрусил через луг.

VI

Каверзин не обошел давнего приятеля Степана Белокопытова: специально работника прислал, чтобы пригласить его, Степана, на званый ужин. Причина для ужина была: в доме Каверзина изволил остановиться полковник Гантимуров, личность известная в Забайкальском казачьем войске.

Не обошел Илья. Хотя так оно и должно быть: у себя, в Куранлае, Степан считается самым крепким хозяином: табун лошадей, тысяч десять баранов, два гурта дойных коров. А что сейчас живет в таборе на пограничном лугу, так это не его вина. Это беда. Если бы все дрались, как три его оставшихся в живых сына, то давно бы всяких красных прогнали к чертовой матери и он сам, Степан Белокопытов, на старости лет вместе с невестками и внучатами не кочевал бы, как цыган.

На табор Степан вернулся только перед солнцем.

С перепоя отяжелел лицом, но голову имел светлую: успел проспать.

– Марья!

Из палатки – Белокопытов богат, имел несколько палаток – вывернулась грудастая молодуха.

– Марья, буди мужиков. Дело есть.

– Может, отец, подождешь утра? – робко спросила, выглянув из палатки, жена Белокопытова, рыхлая старуха с седыми растрепанными волосами.

– Молчи, коли не знаешь.

– Как хочешь, – старуха перекрестила вялый рот, подвязала голову темной шалью, потянула к подбородку козью доху.

Марья пригладила волосы перед маленьким зеркальцем, надела крупные бусы, покачивая крутыми бедрами, пошла по табору.

Про Марью в народе говорили нехорошее. Рано потеряв мужа, Марья, владевшая справным хозяйством, вдруг пошла в работницы к Белокопытову. Старый Степан называл ее погородскому – экономкой.

– И никакая она не экономка, – судачили куранлаевские бабы, – а самая что ни на есть настоящая потаскуха. С хозяином спит. Энтю при живой-то жене.

Но, встретив экономку на улице, бабы здоровались заискивающе: не дай бог, обидится Марья, пожалуется самому, а тот со свету сживет.

Строили в Куранлае церковь. Степан Белокопытов большие деньги отвалил на постройку храма Божьего. Когда поднимали святой крест, отец Григорий отслужил молебен. Но дело у мастеров что-то не ладилось, сноровки, видно, не хватало. Тогда отец Григорий обратился к народу с проповедью. Он говорил о грехах, всеу творимых человеком, об аде и рае, о Судном дне. Священник умел говорить. Камень бессловесный, и тот заплачет, когда этого захочет духовный пастырь.

– Большой грех – прелюбодейние, – взывал к пастве святой отец. – Есть среди нас принявшие на душу этот грех. Господь Бог гневается.

И закончил словами, удивившими многих. Дескать, чтобы крест поднять, нужно прелюбодейщикам встать на колени и слезно просить Спасителя о милости.

– Выполним волю Божью!
Замерли прихожане.

Растолкал народ, вышел вперед и опустился на колени купец Овдей Шаборин. Чесал бороду, прятал глаза Степан Белокопытов, потом шагнул решительно и опустился в пыль рядом с Овдеем.

Отпустил, видно, батюшка грехи Степану. А экономка Марья по-прежнему голову высоко носила, щеголяла, стерва, обновками.

Мужики пришли заспанные, недовольные. С перепоя, видно, старый пес народ мутит, куражится. А может, и верно, вести какие Степан принес: у начальства его табуны в уважении.

Белокопытов молчал, тянул за душу.

– Говори, Степан Финогеныч.

– Говорить-то больно нечего. Снимать табор будем, – повысил голос. – Сегодня уйдем за Аргунь, если не хотите лишиться живота и имущества. Антихристово войско близко.

Ойкнули бабы в соседних шатрах, запричитали.

– Партизанские банды уже низовские караулы захватили, грабят.

Табор ожил. Охваченные страхом, люди суетились: табор похож на развороченный муравейник. Бабы с воем кидали в телеги узлы. Орала свиньи, взвизгивали собаки, увертываясь от хозяйских пинков. Хриплые голоса мужиков, многоэтажный мат, гулкие оплеухи. Испуганные гомоном лошади храпели, рвались из рук, бились в оглоблях.

Наконец табор снялся, и вереница телег двинулась к месту переправы. По земле ползли длинные и косые тени. Солнце взошло недавно, роса блестела крупно и ярко. С бугра видно Зааргунье – чужая немилая сторона.

На одной из белокопытовских телег заливалась слезами старуха.

– Жили – не тужили. А помирать, верно, придется на чужедальной сторонешке! Матушка, Царица Небесная, спаси и помилуй!

– Цыц ты! Не вой, как собака по покойнику, – прикрикнул на жену Степан. – Без тебя тошно.

Переправа – карбас – была китайская. Китайцы заломили цену за перевоз, момент не упустили. Но сговорились в цене быстро: последнее отдашь, лишь бы уйти от страха. Последнее отдавать не пришлось: Белокопытов трех лошадей выделил своих. Добрый он, Степан Финогеныч. На чужой стороне его надо держаться.

Переправлялся Белокопытов первым. Он осторожно повел первую упряжку. Но лошади шарахаются, не хотят входить на настил. Мужики помогают благодетелю: подталкивают телегу, щелкают бичами, тащат лошадей за повод.

Глаза у лошадей дикие, пугает их переправа. Бьется в постромах пристяжка, коренник храпит, пятится, рвет шлею. Бьется пристяжка. Неожиданно задние ноги ее срываются с настила, лошадь валится в воду, увлекая за собой телегу. Видно, дорого ценил эту подводку старик, наверняка на ней золотишко вез, если в лице переменился, закричал по-страшному:

– Постромки режь! Р-руби!

Освободившись от пут, пристяжка спиной ухнула в воду.

– Черт с ней, не утонет.

Через несколько мгновений пристяжка всплывает, жалобно ржет и, сделав большой круг, выплывает на свой берег. Там она тяжело поводит глянцевыми боками, трясет головой и бежит от страшного места, дико кося глазами.

Белокопытов успокоился сразу.

– Ну чего, дурак, испугался, – треплет он коня. – Страшного ничего нет.

На дощатый настил завели еще одну телегу, и карбас, поскрипывая, медленно двинулся к чужому берегу.

Смотреть, как уходят на ту сторону беженцы, собралось чуть не все село. Люди стояли и молчали. Лишь ребятишки с криками носились по берегу.

Скот беженцы решили перегонять вплавь. Их коровы вместе с телятами паслись на ближайшем лугу. Мужики и бабы, проверив, не затерялась ли какая животина в кустах, окружили гурт, щелкая бичами, размахивая палками, погнали его в воду.

Скот был из глубинных степей, где нет больших рек, плавать не приучен. Подойдя к реке, коровы обнюхивали воду, но дальше не шли. Телята, замочив ноги, задрав хвосты, выскакивали на берег, дробно стучали копытцами, стряхивали воду. Коровы кидались вслед за телятами.

Часть гурта, правда, загнали в воду, но частокол из коровьих рогов не проплыл и пятнадцати сажений, пошел вниз по течению и снова прибил к берегу.

– Надо лодку и коня, – предложили из толпы. – Телят в лодку, коров за корму привяжите. Остальные – сами пойдут.

Поймали несколько телят, связали им тонкие ноги, положили в лодку. Трех коровам петли ременные на рога набросили. Лошадь пустили перед лодкой, держали ее за хвост.

Но коровы плыть не хотели. Валились на бок, вытягивали ноги, тащились за лодкой по мелководью.

– Надо, паря, пороза поперед сплавить, – снова сказали из толпы. – Тогда и коровы вплавь пойдут. Верное средство.

– Давайте делать, что говорят, – подтолкнул своих, вернувшихся с того берега, Степан Белокопытов. – А то до морковкина заговенья провозимся.

Опять в лодке связанные телята. За лодкой белолобый, с тяжелыми короткими рогами бык и корова. Гребцы навалились на весла.

Снова захлопали бичи, закричали люди, засвистели, стали теснить стадо к воде.

– Н-но! Гони! Эй! Ну! Жми!

Гурт пошел за лодкой.

– Слава богу, поплыли.

Стадо сопит, с шумом дышит, но плывет. И вот уже видно, как головные коровы выходят на низкий противоположный берег.

Река у переправы быстрая, коровенок послабее оторвало от стада, понесло вниз. И хотя они были ближе к чужому берегу, развернулись и поплыли назад.

– Чтоб вас чума перекурочила, жабы рогатые. Опять лодку, опять коня!

К беженцам подошел Илья Каверзин: это он из толпы подавал советы.

– Эти сами пойдут. Отдохнут и пойдут. Видишь, они на тот берег, на свое стадо смотрят.

Расходился с берега народ. Кто радовался, кто печалился, но виду никто не показывал.

А вечером в Караульный еще две казачьи сотни вошли. Снова коней отбирать будут, поговаривали в народе.

Воздух душный и вязкий. Приближалась гроза. Далеко на северо-западе, за сопками густели тучи и перекатывался гром. Разом налетел ветер, рванул вершины тополей, закружил дорожную пыль, взъерошил перья у куриц, пригнул к земле дым, ползший из труб, зашумел в траве. Створки окна со звоном раскрылись, взвилась вверх белая занавеска, с подоконника упал горшок с геранью и разбился.

Степанка одним прыжком оказался у окна, захлопнул створки. Приплющил нос к стеклу. Ба-а-льшая гроза будет.

Мимо окон груженные подводки идут. Да это Ямщиковы куда-то поехали!

Придерживая штаны, Степанка выскочил на улицу. На одном из возов сидел Шурка.

– Шурка, куда это вы?

Шурка соскочил с подводки, подбежал к приятелю. Глаза у Шурки красные, нос распух.

– Куда вы подались?

– Мы убегаем. На ту сторону, за реку, – торопился Шурка. – Тятка партизан боится. Говорят, нам мало не будет, за то, что Васька у белых стал служить. Мы всю ночь собирались. Я почти нисколечко не спал.

Да как же Шуркиному отцу надо бояться партизан, – Степанке трудно понять. Партизаны-то почти все свои. Там Федя, Северька, Лучка, дядя Филя. Степанка вспомнил о встрече с партизанами.

– А ты, Шурка, не бегай, оставайся, и твой отец останется. А?

– Нет, – замотал головой Шурка, – тятя оставаться нельзя, его партизаны расхлопают. Так Андрюха Каверзин сказал. И Проня Мурашев талдычит то же.

Шурка побежал догонять подводы.

Оказывается, уезжали не только Ямщиковы. Уже грузились на карбас Каверзины, дожидалась своей очереди на берегу семья Прони Мурашева, заколачивали окна у Богомяковых.

В пыль дороги ударили первые крупные капли дождя. Воздух стал плотный – хоть разгребай руками. Утих ветер, замерли в ожидании тополя. Только ласточки стремительно проносятся над самой землей, да старая осина мелко-мелко вздрагивает широкими листьями. Гром перекатывается ближе, уверенней.

У рыжего плетня стоят, разговаривают два старых казака.

– Видишь, – говорит Алеха Крюков могучему старику, отцу Северьки Громова, – бегут язвы.

– Вернуться хотят, – Сергей Георгиевич оглаживает бороду. – Вишь, дома заколачивают. Для сохранности.

Мимо проскакал есаул Букин. На минуту осадил коня.

– Не радуйтесь. Шибко не радуйтесь.

Не поймешь Букина. То ли пригрозил, то ли предупредил. А может, и предупредил. Не раз за долгие годы войны переходил Караульный из рук в руки. Возвращаясь, белые наводили порядок. Пороли, а кого в расход пускали. Букин тоже, видно, думает: если и уйдут белые – все одно вернуться.

– Ну, Богомяков побежал – ладно, – продолжал Крюков, – ну а Мишка Черных чего за границу дунул? Извечный батрак, а тоже капиталы спасает.

– Богомяков ему голову закрутил. Сладкую жизнь обещал.

– В работниках.

– Табуны богомяковские пасти кому-то нужно. Неужто сам Фрол Романыч этим займется?

– Снять бы с этого Миши штаны, голову в ногах зажать да крапивой... Для его пользы.

Поднимая пыль, проскакал по улице, в сопровождении двух вооруженных милиционеров, Тропин. Рот сжат. На мужиков посмотрел косо.

– Чего это они забегали?

– Пойдем-ка, паря, по домам. От греха подальше. Да и гроза начинается.

Замерло село. Замолчало, притаилось. Который уж раз. Дома с заколоченными окнами – как кресты на кладбище. А в других домах – мучаются: ехать на чужбину – душа не принимает, оставаться – боязно. В третьих все решено. Лишь бы своих дожидаться, лишь бы выжить. Хорошая, говорят, жизнь будет.

Пустая улица. Но все видит улица. За каждым, кто идет по ней, следят глаза.

Сила Данилыч мучается. По всему бы – уехать надо. Хозяйство – немалое. Но чужбину Сила знает получше других. Два года в турецком плену был. Нет горше доли, когда тоска по родине душу рвет. «Останусь, – решает Сила. – Красным я ничего не сделал. Не доносил, в дружине на партизан только раз сходил».

Голова у Силы Данилыча есть, а думал долго. Решил твердо: «Останусь». Только на всякий случай продал полтора десятка коров да отару овец. Взял золотишком. Золотишко на огороде закопал, в приметном месте. Так-то оно спокойней.

VII

Партизанская разведка возвращалась домой. Ехали повеселевшие: жмут белых со всех сторон. Ехали днем. Особенно не таились. Но наткнулись на сильный семеновский разъезд. Благо кони были свежие – вынесли. Никого не потеряли, но Николай ругал себя за ротозейство. Снова пошли сторожко, выслали вперед дозоры. И не напрасно. Ехавший в дозоре Никита Шмелев прискакал возбужденный.

– Паря командир, – заикаясь и проглатывая слова, докладывал Никита. – Сейчас из-за сопочки подвода выкатит. За ней – четверо верших. Погонники.

Николай осмотрел своих.

– Надо брать. Вон в тех кустах. Оружие нам нужно. Да и кони.

Только успели партизаны укрыться в кустах, как на пустынной дороге показалась телега. Чуть сзади – четверо конных казаков. Ехали не спеша, мелкой рысью.

– В телеге-то японцы, – скрипел над самым ухом Северьки голос Федьки. – Давно я их не видел.

Японцы о чем-то весело переговаривались и чувствовали себя спокойно. Сопровождающие их казаки, казалось, дремали в седлах.

– Стой! – рявкнул Северька. Из кустов, на дорогу, – люди.

Кучер резко потянул вожжи, но в этом уже не было нужды: Григорий Эпов держал лошадей и зло визжал.

– П-попались, гады.

Казаки рванули шашки, но хлопнули выстрелы, и двое медленно стали сползать на землю, а третий, дернувшись, схватился за плечо. Четвертый, бросив шашку, поднял руки.

Японцев вязали.

– Лошадей ловите! – кричит Федька.

Японцев было трое. Два офицера и солдат. Возница равнодушно смотрел, как тащат к кустам связанных офицеров.

Про третьего – солдата, – казалось, забыли. Он без сопротивления отдал винтовку, но потом вывернулся с телеги и, быстро-быстро перебирая ногами, побежал по дороге.

– Уйдет, сволочь! Лучка – на коня! Руби его!

Лучка, не задев стремяна, прыгнул на казачью лошадь, выхватил шашку. Все, даже связанные офицеры, смотрели, что будет.

Лучка взмахнул и опустил шашку. Но японец продолжал бежать. Лучка сделал круг и снова взмахнул шашкой.

– Не умеет! – взъярился Филя. – Себя и его мучает.

Через мгновение Зарубин был уже на коне и карьером летел за беглецом. Он привстал на стремянах, вытянул руку вперед; пролетая мимо солдата, резко опустил в седло, рванул шашку на себя.

– До пояса, – азартно сказал казак, все еще стоящий с поднятыми руками.

– Может, с тобой так же сделать?

– Воля ваша.

– Опустит руки, – сказал ему Николай. – И сними с седла приятеля. Видишь, ранен.

– Чего ж вы за шашки хватались? – Северька строго смотрит на казаков.

– С перепугу, паря, с перепугу. Шибко вы внезапно выскочили.

– Если бы не внезапно, винтовки бы сорвали.

– Может, и сорвали бы.

– Смелый ты, – Филя закуривает трубку. – Не боишься так говорить?

– А чего бояться. Бойся не бойся – едино.

Японский офицер, старший по званию, торопливо, с хрипотцой заговорил.

– Чего ему надо? Не пойму? – развел руками Николай.

– Его хочет умереть, – спокойно сказал второй офицер. – Харакири. Живот резать.

– Как это? – не понял Николай.

– Обычай у них, у японцев, такой, – объяснил Филя. – Сам себе живот режет.

– Сам себе? Ну уж, не выйдет.

Но японец говорил торопливо и настойчиво.

– А, хрен с тобой. Развяжите ему руки.

Много за эти годы люди смерти видели. Пообвыкли, очерствели. Потеряла смерть таинство. Какое тут таинство, если вот она, каждый день промеж людей шлындает.

Смерть разная: легкая и трудная. Легкая – это та, что в бою. Летит человек на коне, машет пашкой, кричит. Грохнется о землю, перевернется несколько раз, как тряпичная кукла, и – все. Лежит казак в степи, запрокинув голову, бродит вокруг хозяина верный конь. Ржет конь призывно и встревоженно, а хозяин не слышит и не услышит больше никогда.

Раненые умирают трудно. В муках, в тоске. Хорошо еще, если кругом свои стоят, друзья-товарищи. Вот и этот, приехавший из-за моря, не больной, не раненый, сейчас умрет. Умрет среди тех, кого приехал он убивать. Не в бою, не в азарте, сжигающем душу. Каково ему?

Федька развязал японцу руки, отвел его в сторону и услужливо подал клинок.

– На тебе, морда неумытая.

Японец снял китель, опустился на колени. Лучка отвернулся.

– Не могу. Из винтовки стреляю по людям – ничего. А так не могу. И вот того догонял.

Рублю его, а меня мутит.

– Обвыкнешь, – успокоил его Филя.

Смертник обмотал носовым платком лезвие клинка, чтоб удобнее было держаться, строго, отчужденно улыбнулся и всадил конец клинка в живот.

– Вот это вояка, – восхитился Федька. – Жизнь свою не пожалел. Может, ты теперь хочешь? – спросил он второго офицера.

Тот отрицательно махнул головой.

– Значит, хочешь, чтоб расстреляли?

– Отпустим мы его, – вдруг сказал Николай.

– Пусть уходит, – обрадовался Лучка.

– А потом он в нас стрелять будет, – Эпов рассердился. – Насмотрелся поротых, вешанных.

– Я переводчик, – твердо сказал японец. – Не стреляю. Я только переводчик.

– Все вы переводчики. Нашего брата переводите.

– Да, да, – обрадовался японец, – переводчик.

– Пусть уходит, – повторил Николай.

Японцу развязали руки. Федька вывел его на дорогу, подтолкнул коленом в зад.

– Пошел.

Переводчик шел медленно, оглядывался, вздрагивал спиной, опасался выстрела. И вдруг побежал.

– Не выдержала душа.

– А с вами, голуби, что делать? – спросил Николай пленного казака.

– Японца отпустили, стал быть и нас отпустите, – бесстрашно ответил казак, поднимающий руки. – Как-никак люди свои, русские.

– Отпустим, видно, – согласился Крюков. – Только оружие заберем. Не обессудьте. А насчет своих людей... Приведись, так японец тебе родней.

– Издеваешься?

– И чего это ты такой ершистый?

– Отпускаешь, значит?

– Отпускаю.

Казак расслабленно повернулся – нелегко, видно, далась ему бравада, – наклонился над товарищем. Раненый лежал на обочине дороги, морщил лицо, тяжело дышал. Казак расстегнул ремень, рванул от исподней рубахи широкий лоскут.

– Давай перевяжу. Говори спасибо, что живой. Наших-то – наповал.

Раненый приподнял голову. Глаза стали осмысленные, куда-то ушла из них боль.

– Убили... Сволочи... Стрелять вас... Как собак...

– Что он там бормочет? – настороженно спросил Северька.

– Бредит он. Не в себе, – шершавой ладонью казак закрыл рот своему товарищу.

Но тот оттолкнул руку, закричал хрипло, громко:

– Сволочи! Собаки краснозадые... Мать вашу...

Зло сощурился Федька, дернул головой Филя Зарубин.

Пленный казак медленно встал, одернул гимнастерку, надел ремень. Приготовился умереть.

Раненый откинул голову, закрыл глаза. Видно, много сил израсходовал на злой крик.

– Так что же теперь делать будем? – спросил Николай казака.

– Ваша воля, сказывал я тебе, – голос крепкий, нет в нем просьбы.

Трудно Николаю решать. И не понять, отчего трудно. Враги ведь. Но только: обещал отпустить – отпустить бы надо. Пусть идут на все четыре стороны да доброту партизанскую помнят. Опять же, после таких слов как отпустишь?.. Если раненого дострелять, так и его товарища тоже нельзя в живых оставлять.

Видел Лучка: колеблется командир. Неужели раненого прикажет добить? Неужели крови мало впитала земля?

Николай посмотрел на Лучку, сказал пленному:

– Ложи своего японского прихвостня на телегу. Катись к чертям собачьим.

Возницу тоже отпустили. Лишь пристяжку забрали.

– Больше японцев катать не будешь.

– Заставили же, душегубцы, – старик громко высморкался и хлестнул коренника.

Разведка ушла в сопки. Тихо на дороге. Пусто. Только ворон в синей тишине летит. Лениво сделал круг над кустами.

Поздним вечером огородами Степанка пробрался к громовскому дому. Таиться большой нужды не было – никто не обратил внимания на шныряющего по селу мальчишку, – но Степанка считал, что так лучше.

Избушка у Громовых неказистая, старая, смотрит на заречье мутными бельмами. Избушка вросла в землю, и кажется: присела, подобралась, хочет прыгнуть. Только не решается – впереди Аргунь.

Степанка осторожно в окно стукнул.

– Кто там? – глухо слышится из избы. – Заходи.

– Это я. Собака привязана?

Сергей Георгиевич узнал голос Степанки, вышел на крыльцо.

– Ты чего? Не бойся собаки.

Степанка одним духом выпалил:

– Северьку видел. И Федю, братана, видел. Кланяться велели. И еще наши с ними были. Старик крепко взял парнишку за плечо, повел в дом. Закрыв дверь, завесил окно.

– Теперь рассказывай. Где ты их, окаянных, видел. Живы? Здоровы?

– Живые. Веселые. В разведку приезжали.

– Чего еще сказывали?

– Кланяться велели.

– Это ты говорил. А еще чего?

Степанка замолчал.

– А ты по порядку. Куда ездил? Как ребят увидел? Какие у них кони? Нет ли нужды у них в чем? Должен все запомнить – глаз у тебя молодой.

Степанка собрался с мыслями, подражая взрослым, обстоятельно стал рассказывать, как он искал бычка, как из тальников выскочил Федька, как угощали его партизаны и пожимали ему руки.

– Все, – сказал Степанка и посмотрел на старика: доволен ли? Сергей Георгиевич долго не отпускал бы гонца, но Степанка сказал, что ему сегодня еще к Крюковым зайти надо, и старик вывел подростка на крыльцо.

Давно ждал отец Северьки этой весточки. С самой зимы ни слуху ни духу о парнях, как сгинули. Но сердце верило: вернуться. И сегодня у Сергея Георгиевича праздник. Но один он в избе. Даже выпить не с кем. Эх! Только тараканы шуршат.

После встречи с японцами разведка пошла еще осторожнее. Пробирались падыми, глубокими оврагами. Часто спешивались, вели коней в поводу.

В зеленом колке наткнулись на спящего человека. Человек сладко посапывал, сонно отбивался от мух, перебирал ногами в стоптанных ичигах, словно собираясь убежать, когда какая-нибудь муха приставала особенно нахально. В тени осины дремала рыжая брюхатая кобыла. На подъехавших она не обратила никакого внимания. Рядом лежали бурятское седло, ружье с цевьем, перевязанным проволокой, и казачья шашка в облезлых ножнах.

– Это ж посельщик наш, Ганя Чижов, – удивился Николай, присмотревшись к человеку. – Спит, как суслик. Эй! Все царство небесное проспишь.

Ганя всплыл на дыбы, как потревоженный среди зимы медведь. Волосы у мужика всклокочены, лицо от сна и испуга красное, глаза бессмысленные, руки лихорадочно шарят то за пазухой, то в карманах широких штанов.

– Вот, – и Ганя протянул ближнему всаднику кисет с махоркой.

Парни засмеялись.

Услышав смех, и совсем не грозный, свойский смех, Ганя поднял голову выше, глаза приобрели человеческое выражение.

– Здорово, Ганя. Спишь?

– Здорово, здорово. Я вас давно заметил, да притворился спящим, – пришел в себя Чижов.

Казачи смеялись.

Ганя Чижов известен в Караульном как отменный болтун, трус и лентяй. Своего хозяйства, можно сказать, Ганя не имел и годами жил в работниках то у одного хозяина, то у другого. Нанимался Чижов только в пастухи. Другую работу – копать аргал, косить сено – не без основания считал тяжелой. Давно смирился Ганя с нуждой.

– Перестрелять бы вас мог, как куропаток, пара Кольча, – признав Крюкова за старшего, хорохорился Чижов.

– Из чего это? – Федька протиснулся вперед.

– А вон винтовка лежит. Ослеп? Она на вид только старая, а бьет... На вашу трехлинейку не сменяю.

– Если я тебе придачу дам, – Федька обрадовался возможности позубоскалить, – тогда как? Может, сойдемся?

– Подумать надо.

Николай посмотрел на развеселившегося парня строго.

– Хватит изгаляться. А ты, Ганя, лучше расскажи, как очутился здесь.

– Вдали от родных мест и своей Дарьи, – не выдержал Федька.

– Замаял меня Илюха Каверзин, заторкал всего. И так ему не ладно и эдак неладно. Хотел, чтоб побежал с ним за реку. Да пугал еще. Я и послал его к чертовой матери... Теперь, ребята, как хотите, а я от вас не отстану.

– Седлай своего бегунца. Куда тебя бросишь?

– Со мной вы не пропадете, – совсем развеселился Ганя, цепляя шашку, – я, паря, тут каждый бугорок знаю.

Чижов взобрался в седло.

– Я возле тебя буду держаться, – подъехал к нему Федька. – Ты ж не молодой, с тобой не так боязно.

– Давай, – ответил Ганя, не чувствуя подвоха. – Выручу, – в его голосе – превосходство.

– Какой-то он ненормальный, – шепнул Шмелев Филе Зарубину. – Вроде не дурак, но и умным не назовешь.

VIII

Каждое утро Степанку будят до света. Жалко Федоровне своего младшего, а что поделаешь? Кормиться надо. Разве отдала бы она Степанку в наймы – и Савва этого лиха хватил, – если бы жив был Илья? Не живи как хочется, а живи как можется.

Степанка просыпается утрами тяжело. Как клещ, впивается в потники; отбивается босыми ногами. Потом сонно пьет молоко, натываясь на дверные косяки, идет во двор. Мать уже заседлала Игреньюху.

Подъезжает Семен Дулэй, пастух, и вместе они едут по широкой улице. Скрипят ворота – бабы выгоняют скот.

Дулэй не имел ни семьи, ни дома. Жил где придется и, казалось, никогда не тяготился этим. Отец и мать его, кочевые буряты, умерли рано, и Семен еще в детстве прибил к русским. Возмужав, Семен исчез из села надолго. Где скитался – никому неизвестно. Лет двадцать назад вернулся в Караульный и нанялся в пастухи. Пожалуй, с тех пор и стали называть его Дулэй, по-бурятски значит глухой.

Степанка любил Дулэя. Старый пастух был удивительным человеком. Степь он считал живой и мог часами разговаривать с камнями, цветами, стоящим в отдалении тарбаганом. Многие считали Дулэя не в себе, но охотно прощали Семену этот недостаток: скот у Дулэя всегда сытый, выхоженный.

Дулэй относился к Степанке нежно. Может, просто жалел безотцовщину – самому пришлось хлебнуть сиротства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.